

История русской литературы

В. КАНТОР

ПУТИ И КАТАСТРОФЫ РУССКОЙ МЫСЛИ

Кого будил А. И. Герцен?

Разверните какую хотите историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы; взглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, — и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине — и истине полной утешения на второй взгляд, что все это следствие расстройств умственных способностей.

А. И. Герцен. «Доктор Крупов», 1846

БЫТЬ МОЖЕТ, КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА...

Рассказать о Герцене — значит понять, как развивалось радикальное движение в России, понять центр,

Работа подготовлена при финансовой поддержке научного фонда ГУ-ВШЭ (грант 08-01-0021).

смысл, противоречия русской культуры до двух революций 1917 года. Да и потом именем Герцена клялись как большевики, так и либералы. В общественное сознание крепко была вбита повторенная Лениным мысль Огарева, что «Герцен первый снова разбудил наше уснувшее свободомыслие, дал первый толчок нашим потребностям народной свободы и нового гражданского устройства <...> Герцен разбудил самые спящие умы; все ринулись к одной мысли — народного освобождения. Дело могло быть понято так или иначе, но движение уже не могло остановиться. Это хорошо знает человек, который дает первый толчок движению. Это закон механики. От этого за Герценом и останется первоначальное стремление к освобождению¹. А потом прозвучали канонические строки Ленина о том, что декабристы разбудили Герцена... А уж он стал звонить в «Колокол».

Именно этот образ человека, будящего Россию, вызывал раздражение отечественных диссидентов. Так возникла поэма Наума Коржавина под тем же названием, что у Огарева и Ленина, — «Памяти Герцена»:

Любовь к Добру разбередила сердце им,
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда все пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.

Вместе с тем именно с помощью Герцена, через его тексты, Натан Эйдельман и другие исследователи вводили многие темы, понятия и фигуры, запрещенные или заглушенные советской пропагандой. Именно Герцен казался очень долго сторонником либерализма, да и сейчас кажется таковым, — и не без оснований попал в энциклопедию «Российский либерализм: идеи и люди» (М.: Новое издательство, 2007). Особенно активно обращались

¹ Огарев Н. П. Памяти Герцена // Огарев Н. П. О литературе и искусстве. М.: Современник, 1988. С. 159.

советские инакомыслы к его последнему тексту «К старому товарищу», где он выступил против Бакунина, Нечаева, Огарева, показав увиденный им наконец катастрофизм радикального пути. Но именно к этому пути он прежде призывал с фантастической энергией, подействовав на русские умы (от негативного отношения у Ф. Достоевского, Б. Чичерина, Н. Чернышевского до позитивного у П. Ткачева, М. Бакунина, П. Нечаева). В 1848 году он писал: «Что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему, — и это прекрасно, а потому — да здравствует хаос и разрушение!

Vive la mort!

И да водружится будущее!»²

Как известно, книга «С того берега» вначале была опубликована по-немецки. По-немецки это было сформулировано более жестко, ближе к Бакунину. Немецкий культурфилософ Вальтера Шубарта завершает эту цитату словами: «Вот они — истоки, из которых пропаганда Коминтерна заимствует свои лозунги»³. Разумеется, оппоненты Герцена его связь с Бакуниным, Огаревым, призывы к жестокости сумели прочесть достаточно издевательски. Особенно, известный парадоксалист В. Розанов. Посмеем привести его почти никогда не цитировавшиеся слова: «Русские все скрылись в “письмо тетеньки к Шпоньке”, в обаятельную Natalie и во весь литературный онанизм. Онанисты — вот настоящее имя для этого общества и этой литературы <...> О, какие уездные чухломские чумички они, эти наши **социал-демократы**, все эти <...> “**Письма Бакунина**” и вечно топырящийся **ГЕРЦЕН** <...> Никому они не нужны. Просто, они — **ничего**»⁴. Розанов назвал

² Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч. в 30 тт. Т. VI. М.: Изд. АН СССР, 1955. С. 48. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте.

³ Шубарт Вальтер. Европа и душа Востока. М.: Русская идея, 2000. С. 73–74.

⁴ Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй // Розанов В. В. Сочинения в 2 тт. Т. 2. Уединенное. М.: Правда, 1990. С. 626.

тексты русских радикалов онанизмом, а не делом. Однако онанисты — бесплодны. Но плод все же был — бесы. Их-то и испугался Герцен, об этом полные мрачных предчувствий его последние работы.

Таким образом, пытаясь разобраться в проблемах русской судьбы XX века, видимо, необходимо обратиться к идеям человека, державшего в течение нескольких десятилетий предыдущего столетия в напряжении всю интеллектуальную Россию. Герцен сумел сформулировать существенные особенности развития русской культуры, спорно или бесспорно — это другой вопрос. Но кто может претендовать на безошибочность суждений об истории? Особенно странно ждать подобной безошибочности от активного политического деятеля, пытавшегося своим словом изменить историю. Однако многие его мысли работают и сегодня. Скажем, Герцен первым наиболее резко выговорил, что литература и искусство в России являются единственной трибуной, с высоты которой народ «заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести» (VII, 198). Существенна специфика герценовских мыслительных построений: отсутствие категоричности, незамкнутость суждений, их «глубинная противоречивость, антиномичность мысли», что позволяло ему ставить вопросы, не боясь, что он не сможет дать на них ответа, ибо ответа он ждал и искал в историческом движении человечества.

БУДУЩИЙ РАЗРУШИТЕЛЬ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Сама биография обозначила особенности взгляда на мир русского мыслителя-бунтаря. Родился Александр Иванович Герцен 25 марта (6 апреля по новому стилю) 1812 года в Москве у богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева. Это был момент взятия Москвы Наполеоном. Семья Яковлева оставалась в Москве. Наполеон велел представить себе отца Герцена и под условием, что тот доставит его письмо с предложением о мире русскому императору, дал ему пропуск для выезда из Москвы. Не ошибемся, предположив, что для становления юношеского самосознания Герцена, видимо, был важен этот эпизод,

не случаен рассказ о нем на первых страницах «Былого и дум». Получалось, что с самого рождения он оказался в центре исторических событий⁵. И темы, и мотивы этих событий протянулись через все его творчество. Например, Наполеон считал именно Москву сердцем России, а не Петербург. Слушая рассказы взрослых, Герцен был упоен благородством французского полководца, к тому же продолжателя якобинцев, как многим казалось. Но юношеская влюбленность переросла в презрение. Попав во Францию, в французах он разочаровался («Париж! Как долго это имя горело путеводной звездой народов; кто не любил, кто не поклонялся ему? Но его время миновало, пускай он идет со сцены. В июньские дни он завязал великую борьбу, которую ему не развязать. Париж состарился — и юношеские мечты ему больше не идут» — VI, 47). Он словно продолжал в эмиграции воевать с французами, именно Францию назвав родиной мещанства в книге «С того берега» и оказав тем самым поразительное влияние на русскую художественную культуру. Именно как мещанина следом за Герценом Лев Толстой изобразил француза Наполеона.

Маленький Сашка, или Шушка, как его звали домашние, общий любимец и баловень. Но существенно, и он это очень хорошо понимал, что он незаконный сын, по прихоти отца взятый в барский дом, хотя на улице бегало немало таких Шушек. В сознание мальчика вкладывалось понятие о возможности волюнтаристского решения чьей-то судьбы. Но вместе с тем и сознание своей избранности. Уже перед смертью он запишет в дневнике: «20 декабря 1866, Nizza <...> Избалованные средой — сознанием своей силы — мы твердо верили, что будем жить на особых правах» (XX, 2, 609.). Пока же он просто был убежден, что в руки ему даны великие возможности.

Он стал наследником миллионного состояния. Эти имения вместе с крепостными были им очень удачно заложены перед эмиграцией, принеся ему реальные мил-

⁵ «Политические мечты занимали меня день и ночь», — пишет он о своем отрочестве (VIII, 63).

лионы. Стоит добавить, что Яковлевы состояли в дальнем родстве с царствующим домом Романовых. Разумеется, это не могло не давать Герцену представления о значительности его собственной персоны. Свое царское достоинство он обозначил псевдонимом — *Искандер*, то есть *Александр Македонский*.

В четырнадцать лет Александр познакомился с сыном дальнего родственника отца Николаем Огаревым: «Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные» (VIII, 80). Мальчики сошлись в своих пристрастиях: оба были воспитаны на античной истории и Шиллере. Отсюда и Искандер, но отсюда и знаменитая «аннибалова клятва», которую дали друг другу юные Саша Герцен и его ближайший друг Ник Огарев на Воробьевых горах (они полагали, что возродили античную дружбу, что они вроде как Кастор и Поллукс). Любопытна его реминисценция этой клятвы в конце 40-х годов. Его ум более гибкий, чем у Огарева, мог выразить сомнение в продуктивности взятой на себя клятвы: «Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала со своим сыном: оно берет обет прежде сознания, опутывает нас нравственной кабалой, которую мы считаем обязательною, по ложной деликатности, по трудности отделаться от того, что привито так рано, наконец, от лени разобрать, в чем дело» (VI, 23). Оглядка на собственный поступок очевидна. Карфагенский полководец Гамилькар потребовал от своего девятилетнего сына Ганнибала (Аннибала) дать клятву посвятить свою жизнь борьбе с Римом. Очевидный (здесь иронико-скептический) намек на тему «аннибаловой клятвы», которую дали молодые юноши на Воробьевых горах, — посвятить себя борьбе с Российской империей.

К этому, однако, стоит добавить ссылки (Пермь, Вятка, Нижний Новгород), которые перенес Герцен в 30-е годы, которые обострили его вражду к империи. Герцен не был подвергнут казни, как декабристы или петрашевцы, но он был унижен, что с ним, уже известным литератором, обошлись, как с «ветошкой», если воспользоваться словом Достоевского. Но быть «униженным и оскорбленным» он не умел и не хотел. Именно презрения к нему

империи он не смог перенести. «Аннибалова клятва» наполняется реальным содержанием мести петербургскому императорству. Рим должен быть разрушен. Мы часто недооцениваем мотива мести в исторических деяниях. Однако мотив существен. Вспомним легендарный ответ В. Ульянова после казни брата на слова полицейского, что перед ним стена: «Стена да гнилая, ткни и развалится». Это почти прямая цитата из Герцена: «Совсем в ином положении находится Россия. Стены ее тюрьмы — из дерева; возведенные грубой силой, они дрогнут при первом же ударе» (VII, 241).

Достоевский в ужасе писал, что ничего прочного, что малейшее потрясение — и Россия развалится. Леонтьев предлагал подморозить Россию. Герцен в восторге от слабости и гнилости империи: «В этой империи фасадов, где нет ничего подлинного и реального, кроме народа внизу и просвещения наверху, существует лишь два начала, представляющих собой исключение, две разрушительные силы: военная отвага и отвага отрицания <...> Разностильное здание, без архитектуры, без единства, без корней, без принципов, разнородное и полное противоречий. Гражданский лагерь, военная канцелярия, осадное положение в мирное время, смесь реакции и революции, готовая и продержаться долго и на завтра же превратиться в развалины», — пишет он в «Prolegomena» (XX, 1. 76–77). Если развалился великий Рим, что мешает рухнуть имперской России?

«Все наши идеи, за исключением религиозных, мы несомненно получили от греков и римлян»⁶, — писал Чаадаев. Тема Рима, Рима республики и Рима цезарей, была постоянно на устах у декабристов, у передовой дворянской молодежи того времени. Недаром сосланный из Петербурга на Юг Пушкин постоянно сравнивает свою судьбу с судьбой сосланного из Рима Овидия («К Овидию»): «Я повторил твои, Овидий, песнопенья». Но уже после гибели декабристов тема Рима, не исчезая, приобретает совсем иной колорит — мрачный и трагический. В 1834 го-

⁶ Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.: Современник, 1989. С. 138.

ду Гоголь пишет статью «Движение народов в V веке», рассказывая о разрушении Рима варварами, в результате чего Римская империя «не походила и на тень прежней своей славы. Цветущая, прекрасная — венец европейской природы, она представила дикий вид опустошенной, уничтоженной страны»⁷. Постепенно это движение культуры втягивает в свою орбиту все страны, включая Россию, считал Гоголь. Однако далее, с обострением социально-политических и культурных противоречий как в России, так и в Западной Европе, экспансия римско-европейской культуры как позитивного фактора ставится под вопрос.

Надо сказать, что не только Герцен, а многие его современники, переживавшие то же культурное противостояние, жившие, так сказать, в двукультурье и междумирье, затрагивали эту проблему — смены двух миров, заката великого Древнего Рима, сочувствуя то ему, то — что чаще — приходящим на смену варварам. В 1830 году Тютчев пишет знаменитое стихотворение «Цицерон», где передает свое ощущение падения величавой твердыни, отсюда слова: «застигнут ночью Рима был», «прощаясь с римской славой», «во всем величье видел ты / Закат звезды ее кровавый». Отождествление гибели Рима с гибелью Европы для Тютчева не случайно, ибо Рим, по его словам, «в наши дни, как и всегда, он — корень западного мира»⁸. Трижды приступал к теме смены одного мира другим Аполлон Майков: римские сцены времен V века христианства «Олинф и Эсфирь» (1841), «Три смерти. Лирическая сцена из древнего мира» (1857) и трагедия «Два мира» (1882), поразительно совпадавшие по проблематике с ранними сценами из римских времен Герцена. В 1846 году А. Толстой пишет повесть «Амена» — эпизод соблазнения носителя новой, христианской этики древнеримской язычницей-дьяволицей. Мотивы заката римско-античной цивилизации и прихода варваров нахо-

⁷ Гоголь Н. В. Движение народов в V веке // Гоголь Н. В. Арабески. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 345.

⁸ Тютчев Ф. И. Римский вопрос // Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и писем в 6 тт. Т. 3. М.: Классика, 2003. С. 158.

дим в стихах 50-х годов у Льва Мея и Каролины Павловой. Отчего же именно русские писатели заговорили о конце Рима, как о каком-то очень живом, не только бывшем, но грядущем в скором будущем событии? Почему здесь так пристально обсуждалась проблема смены старой цивилизации молодой, со свежей кровью? Нельзя забывать, что писали все это дворяне, культура которых выросла на культуре западной. Даже отрекаясь от нее, они несли в себе «яд» европейской образованности, как романизированные германцы Тацитовых времен.

Не случайно именно писатели-дворяне слышали этот подземный гул поднимавшегося против дворянства народа. Им казалось, что гибнет Европа, но рождено это чувство было ощущением надвигающейся гибели «европеизированной России», своего рода «внутреннего Рима». Впоследствии Герцен, как мы увидим, наложил это свое ощущение внутреннего катаклизма на взаимоотношение культур — европейской и русской. Но для этого ему надо было уехать на Запад. Пока же, до эмиграции, он занимает свое ясное место в общественной борьбе тех лет. В общем сознании Герцен — западник.

ЗАПАДНИК?

Это и в самом деле исторический факт, что будущий ненавистник Запада в восприятии современников первой половины 40-х годов — типичный западник. О своих спорах со славянофилами Герцен рассказал в «Былом и думах», в «Развитии революционных идей в России». И хотя он писал, что сердце у славянофилов и западников билось одно, он был среди самых активных бойцов западнической когорты. Не случайно Н. Языков в стихотворении «К не нашим» назвал врагами России трех мыслителей — Чаадаева, Грановского и Герцена, посвятив ему такое четверостишие:

И ты, невинный и любезный,
Поклонник темных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов

Но стоит вспомнить и эпизод, иронически описанный Герценом в главке «Не наши» («не наши» для него — славянофилы) из «Былого и дум»: «Мы давали Грановскому обед после его заключительной лекции. Славяне хотели участвовать с нами, и Ю. Самарин был выбран ими (так, как я нашими) в распорядители. Пир был удачен; в конце его, после многих тостов, не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и облобызались по-русски с славянами. И. В. Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамилье *ы* вместо *е* и через это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев и этого не требовал, напротив, обнимая меня, повторял своим соргапо: “Он и с *е* хорош, он и с *е* русский”. С обеих сторон примирение было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее» (IX, 166). И мудрено было не разойтись при той шутливо описанной, но слишком явной ксенофобической дикости на счет *е* и *ы*.

Герцен отныне «нашими» называл своих союзников (поначалу западников), «не наши» были очень долго для него славянофилы⁹. Герцен был остер на язык, много знал, поэтому полемику с ним мало кто мог выдержать. Оппонентами были славянофилы; главный упрек был, что они хотят показать Лазаря в шелках, скрыв его гноища, то есть пытаются устроить апофеозу России безо всякой критики, он же думал тогда, что критика есть единственное лекарство. Главная проблема, вокруг которой шел спор, была проблема личности. Уже в первой своей статье «Двадцать осьмое января», где дата в заглавии — день рождения Петра, Герцен заявил о Петре как спасителе России, великом случае (впоследствии тема случайности — одна из важнейших в его философии истории), невольно повторив пушкинское выражение: «...Явился Петр» (I, 32). Любопытно, что буквально эту фразу, означавшую перелом в судьбе России, написали и Пушкин, и Хомя-

⁹ Стоит мимоходом отметить, как в эту игру с местоимением «наши» включился Достоевский, назвав «нашими» бесов с явным намеком на Герцена, на то, кто теперь его союзник.

ков. Но Герцен искал путей переустройства, поэтому охотно принял и пушкинское сравнение Петра с Конвентом. Петр не мог не быть, по его разумению, личностью, то есть выразителем личностного начала, ненавистного славянофилам. Сославшись на Кавелина, Герцен назвал Петра «первой русской личностью, дерзнувшей поставить себя в независимое положение» (VII, 169).

Отвечая на кавелинскую статью в «Современнике», Ю. Самарин в «Москвитянине» за 1847 год сформулировал иное понимание личности: «Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия»¹⁰. В защиту Кавелина выступил Герцен, но уже из-за рубежа, ибо мог там свободно договорить то, что нельзя было сказать в русской подцензурной печати.

«В возражении “Москвитянина”, — писал Герцен в трактате «О развитии революционных идей в России», — почерпнувшем свои доводы в славянских летописях, греческом катехизисе и гегельянском формализме, опасность, которую представляет собой славянофильство, становится очевидной. Автор-славянофил полагал, что личный принцип был хорошо развит в древней Руси, но личность, просвещенная греческой церковью, обладала высоким даром смирения и добровольно передавала свою свободу особе князя <...> Этот дар самоотречения и еще более великий дар — не злоупотреблять им — создавали, по мнению автора, гармоническое согласие между князем, общиной и отдельной личностью, — дивное согласие <...> На замечание, что все мы рабы, что личное право не развито в России, отвечают: “Мы спасли это право, увенчав им князя”. Это издевка, возбуждающая презрение к человеческому слову» (VII, 244–246).

За рубежом, хотя взгляды его на Запад изменились на диаметрально противоположные, он все же не мог принять славянофильскую доктрину полностью, продолжая

¹⁰ Самарин Ю. Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М.: Московский философский фонд, РОССПЭН, 1996. С. 443.

спорить с нею. Не случайно именно его назвал Н. Страхов подлинным и полным выразителем западничества. О его раннем творчестве этот «поздний славянофил» писал так: «Эпоха, когда сложились взгляды Герцена, была самою цветущею эпохою *западничества* в русской литературе. Это был конец 30-х и начало 40-х годов, время Станкевича, Грановского, Белинского и так далее. Если судить по внутренним силам, по глубине и последовательности, с которою умы проникаются известными настроениями мысли, то мы должны будем признать Герцена самою крупною звездою в этой первоначальной плеяде западников. В известном смысле Герцен был не просто западник, то есть не просто поклонник и подражатель Запада; это был *западный человек*, который слился всею душою с западной жизнью, вполне и до конца жил идеями этой жизни <...> Герцен прямо примкнул к самым живым струям тогдашней жизни Европы, к ее философскому и общественному движению; он стал философом и социалистом»¹¹.

Белинский приветствовал первые литературные опыты Герцена, объяснив и особенность его художественного письма, заметив, что у Герцена столько ума, как мало у кого, и этот ум подчиняет себе его художественное творчество, что у него «талант и фантазия ушли в ум». Это дает лица необщее выражение герценовской прозе. Белинский как бы в шутку, но вполне серьезно сказал, что Герцен — как гоголевский Нос, «сам по себе». П. Анненков вспоминал: «Я был свидетелем, что до конца жизни ни Грановский, ни Герцен, ни Белинский не могли говорить друг о друге без умиления и глубокого сердечного чувства»¹².

И все же слишком велико было эго Герцена. Здесь стоит рассказать эпизод его взаимоотношений с Белинским, чтоб к нему более не возвращаться. Всем памяты восторженные описания ярости и неистовства прямодушно и искреннего Белинского. Речь идет о вопросе бытово-

¹¹ Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки. СПб., 1882. С. 50—51.

¹² Анненков П. В. Замечательное десятилетие. 1838—1848 // Анненков П. В. Литературные воспоминания.

го жизнеустройства, от которого по отношению к другим Герцен всегда отмахивался. Не забывая, однако, о себе. Для начала напомним роль Белинского как «передового бойца» западничества, открывавшего таланты, слову которого верили и писатели, именно он привлекал сотни и тысячи умов, ибо и вправду весь *жил идеями*, не играл в нее, не думал о хлебе насущном, в котором нуждался как никто из западников. Его роль жестоко определил Розанов: «В мокрой квартире, чахоточный, необычайно талантливый и благородный Белинский “таскал каштаны из огня” для миллионеров Герцена и Огарева, для темного кулака Некрасова с Панаевым и Краевским, и писал *им нужные* бешеные статьи»¹³. А затем он женился на воспитательнице из благородного пансиона, у него родилась дочь, взглядам он не изменил, но возникла потребность в заработке. И то, что великий критик связал свою жизнь с такой приземленной особой, стало немного раздражать его друзей. Стоит артикулировать мысль Флоровского: «Все лица распадаются для Герцена на два разряда: стертые и невыразительные, из которых нечего прочесть, и яркие, вдохновенные, неповторимые, на которых запечатлена сила страсти и молодость духа. Таким эстетическим критерием мерит Герцен всю жизнь, и в этом основа его исторических оценок»¹⁴.

Эту «воспитательницу», жену великого критика, друзья старались не замечать, как «лицо стертое и невыразительное». Белинский был ярким лицом, но он как бы немного ронял себя своей жалкой попыткой «устроиться в жизни». При этом забывалось, что был он очень болен и очень беден и загонял свой талант поденщиной. Ему могли помочь и при жизни. Розанов, процитировав трагическую фразу из письма Белинского: «*До этой черной низости, какую мне делали эти люди* (“социалистического” оттенка), той гадости, несправедливости и бесчестности, какую они проявили в отношении меня и труда моего,

¹³ Розанов В. В. Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев. М.: Республика, 2001. С. 64.

¹⁴ Флоровский Георгий. Искания молодого Герцена // Флоровский Георгий. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 409.

черного труда черного поденщика, — никогда не делали Греч и Булгарин», — далее комментирует: «Теперь подставте-ка во всех его сочинениях вместо “Греч и Булгарин” другие и настоящие имена, с живой ненавистью и молча носимые Белинским, именно имена “Краевского и Некрасова”, да отчасти и “Герцена и Огарева” (вон Кетчеру эти филантропы купили сухонький домик и подарили; а сделай они *то же* или сделай *подобное* Белинскому — и он был бы спасен)»¹⁵. Интересно и окончание этой истории: друзья-миллиончики у постели умершего критика поклявшись не оставить его семью без заботы, уже через несколько недель все обещания забыли. Зачем помогать мелкой мещанке?¹⁶

Винить ли в подобной черствости западничество как явление? Или, быть может, скорее тот романтически-идеалистический взгляд на жизнь, который отметил Флоровский и который привел Герцена к обвинению Запада в мещанстве. К этому, наверно, стоит добавить высокомерие и обыкновенное презрение «великого человека» к низшему рангом. Невольно вспомнишь гоголевского капитана Копейкина и русское троюковское барство.

Но все же Герцен, романтик и идеалист, верил, что активное начало жизни, жизнь перестраивающее, он найдет на Западе. «В 1847 году Герцен покинул Россию: он не мог более оставаться в душливой атмосфере эпохи официального мещанства»¹⁷. Уезжая, он еще верил в Запад (Достоевский даже сострил, что Герцен не уезжал в эмиграцию, а так и родился эмигрантом), верил, что *его отъезд есть событие, вводящее Россию в европейскую систему отношений*, где эмиграция — норма жизни накануне социальных перемен: «Все это кажется новым и странным только нам, — в сущности, тут ничего нет беспримерного.

¹⁵ Розанов В. В. Литературные изгнанники... С. 65.

¹⁶ Помог несчастной вдове купец Солдатенков, издавший в середине 50-х годов собрание сочинений Белинского и значительный процент отдавший вдове критика. Получив деньги, она немедленно покинула Россию.

¹⁷ Иванов-Разумник Р. И. История русской общественной мысли. В 3 тт. Т. 2. М.: Республика, ТЕРРА, 1997. С. 14.

Во всех странах, при начале переворота, когда мысль еще слаба, а материальная власть не обуздана, люди преданные и деятельные отъезжали, их свободная речь раздавалась издали, и самое это *издали* придавало словам их силу и власть, потому что за словами виднелись действия, жертвы. Мощь их речей росла с расстоянием, как сила вержения растет в камне, пущенном с высокой башни. Эмиграция — первый признак приближающегося переворота» (VI, 17), — писал он «с того берега».

Уезжая, он переживал период некоторой идеализации Запада и желал преодолеть российскую косность, ибо даже русской общине необходим фермент активности, который привнесут выработанные петровской реформой независимые личности. В этом случае Европа — тот плацдарм, откуда можно будить Россию. Поэтому на упреки друзей, не понимавших смысла его эмиграции, у него был достаточно убедительный ответ. В августе 1849 года он послал письмо друзьям, которое в исправленном виде стало впоследствии одной из глав «С того берега». В этом письме он задавался тем же вопросом: «Зачем же я остаюсь? Остаюсь затем, что борьба здесь, — что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что страдания здесь болезненны, жгучи, но человечественны: они здесь гласны, борьба открытая — никто не прячется <...> Где не погребло слово, там и дело еще не погребло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь». Он верит, что только открытое слово может дойти до России и взволновать ее: «Есть у нас одна трибуна — это трибуна вне России» (VI, 317, 321).

Но самая главная задача, какую он поначалу ставил, — это все же не влияние на Россию, а попытка рассказать Европе о стране, которая должна осуществить идеалы социализма: «Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство и больше ничего <...> Пусть она узнает ближе народ <...> который сохранил величавые черты, живой ум и разгул широкой, богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет

громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся; надобно им <...> знать, что <...> наш естественный, полудикий быт встречается с их ожидаемым идеалом, — что последнее слово, до которого они выработывались, — первое слово, с которого мы начинаем, — что мы идем навстречу социализму, как германцы шли навстречу христианизму» (VI, 322).

Однако как отнестись к словам В. Зеньковского (с которыми согласны многие русские мыслители): «если сам Герцен был ярким представителем антизападничества, то его духовные потомки оказались лишь защитниками “внезападничества”»¹⁸ (имеются в виду народники)? Итак, все же западник или антизападник?..

ЗАПАД

Запад встретил его, жестоко разрушая все его иллюзии и идеалистические построения. Он рассчитывал, что Россия идет навстречу социализму, то есть навстречу Европе, но вдруг поражение революций в Европе — Париже, Дрездене, Вене, которые он объяснял отсутствием безоглядной смелости пожертвовать всем. Когда Бакунин в Дрездене предложил прикрыть баррикады картинами Мурильо и «Мадонной» Рафаэля, а ратушу взорвать, то, как иронически описывал этот эпизод Герцен, тамошние буржуа и мещане очень испугались. Конечно, для русского, чувствующего себя еще варваром, забавно, когда после отказа «муниципальных эстетиков» закрыть произведениями живописи баррикаду, Бакунин предложил поджечь дома аристократов и взорвать на воздух ратушу со всеми членами правительства, а те «струсили».

Эта тема — тема страха Запада за накопленные им духовные сокровища, мешающие его революционности, почти сразу появляется в эмигрантских текстах Герцена. Если по отношению к своему народу он чувствовал себя представителем европейской цивилизации, то по отноше-

¹⁸ Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М.: Республика, 1997. С. 53.

нию к Европе он почти сразу же, в первые же годы начинает чувствовать себя представителем варварского племени, которому дано осуществить наяву идеалы социализма; «Мы готовы делить ваши ненависти, но не понимаем вашей привязанности к наследию ваших предков. Мы слишком задавлены, слишком несчастны, чтоб удовлетвориться половинчатыми решениями. Вы многое щадите, вас останавливает раздумье совести, благочестие к былому; нам нечего щадить, нас ничто не останавливает <...> В нашей жизни есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего неподвижного, ничего мещанского» (V, 222).

Беда Запада, полагал Герцен, это то, что, собственно, и делало его культуру великой, но Россия этих сокровищ лишена: «Из всех богатств Запада, из всех его наследий нам ничего не досталось. Ничего римского, ничего античного, ничего католического, ничего феодального, ничего рыцарского, почти ничего буржуазного нет в наших воспоминаниях. И по этой причине никакое сожаление, никакое почитание, никакая реликвия не в состоянии остановить нас. Что же касается наших памятников, то их придумали, основываясь на убеждении, что в порядочной империи должны быть свои памятники. Вопрос для нас заключается не в продлении жизни наших умирающих, не в погребении наших мертвецов, — это для нас не представляет никакого затруднения, — а в том, чтоб узнать, где находятся живые и сколько их» (XX, 1, 62). Хорошо это или плохо — отсутствие памятников культуры? Но тут любопытен один момент — непрочность усвоенной западной культуры даже у такого человека высшего аристократического пошиба, как Герцен.

Забегая вперед, замечу, что люди без комплекса избранности, более низкого сословного уровня, скажем, Пушкин, называвший себя «русским мещанином», Достоевский и Чернышевский, разночинцы, оказались более трепетно связаны с сокровищами мировой культуры. Мадонна Рафаэля висела в кабинете Достоевского, под ней он и скончался. Как ни странно, но приходится прислушаться к словам Льва Шестова о Герцене: «Стоило русскому человеку хоть немного подышать воздухом Евро-

пы, и у него начинала кружиться голова. Он истолковывал по-своему, как и полагалось дикарю, все, что ему приходилось видеть и слышать об успехах западной культуры. Ему говорили о железных дорогах, земледельческих машинах, школах, самоуправлении, а в его фантазии рисовались чудеса: всеобщее счастье, безграничная свобода, рай, крылья и т. д. И чем несбыточней были его грезы, тем охотнее он принимал их за действительность. Как разочаровался западник Герцен в Европе, когда ему пришлось много лет подряд прожить за границей! И ведь он, несмотря на всю остроту своего ума, нисколько не подозревал, что Европа менее всего повинна в его разочаровании. Европа давным-давно забыла о чудесах: она дальше идеалов не шла; это у нас в России до сих пор продолжают смешивать чудеса с идеалами, как будто бы эти два ничего общего меж собой не имеющие понятия, были совершенно однозначными. Ведь наоборот: именно оттого, что в Европе перестали верить в чудеса и поняли, что вся человеческая задача сводится к устройению на земле, там начали изобретать идеалы и идеи. А русский человек вылез из своего медвежьего угла и отправился в Европу за живой и мертвой водой, ковром-самолетом, семимильными сапогами и т. п. вещами, полагая в своей наивности, что железные дороги и электричество — это только начало, ясно доказывающее, что старая няня никогда не говорила неправды в своих сказках... И как раз это случилось в то время, когда Европа навсегда покончила с астрологией и алхимией и вышла на путь положительных изысканий, приведших к химии и астрономии»¹⁹.

Равнять Герцена с дикарем, столкнувшимся с неожиданностями европейской цивилизации, но не нашедшим в ней чуда, все же не след. Герцен мечтал о другом, о том, что Запад своим революционным движением преобразует мир, в том числе и Россию, но не получилось. Герценовское изменение взгляда на Запад — результат поражения европейских революций, это он и сам понимал, понимал

¹⁹ *Шестов Лев.* Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. Л.: ЛГУ, 1991. С. 60–61.

и то, что после этих поражений *он перестал быть западником*. В «Письмах к противнику» он писал: «Когда я спорил в Москве с славянофилами (между 1842 и 1846 годами), мои воззрения в основах были те же. Но тогда я не знал Запада, т. е. знал его книжно, теоретически, и еще больше я любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам. Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, *западником*. Париж в один год отрезвил меня, зато этот год был 1848. Во имя тех же начал, во имя которых я спорил с славянофилами за Запад, я стал спорить с ним самим» (XVIII, 278).

Конечно, ушла вера в сакральное пространство Запада. А разочарование ведет к критике тем более жесткой, чем больше было очарование. В результате Герцен становится самым ярким антизападником, гораздо более ярким, нежели славянофилы. Это поняли почти сразу современники Герцена. Страхов, называвший Герцена типичным человеком Запада, приходит к парадоксальному, на первый взгляд, выводу: «Запад тянул к себе Герцена. Он уехал из России и не только стал внимательно и зорко всматриваться в строй и движение Запада, но и сам пытался вмешаться в это движение. К какому же выводу пришел Герцен? С неотразимой силой в нем вкоренилось убеждение, что Запад страдает смертельными болезнями, что его цивилизации грозит неминуемая гибель, что нет в нем живых начал <...> Вот главное открытие Герцена. России он не понимал; как Чаадаев, он ничего не умел видеть ни в ее настоящем, ни в ее прошедшем. Но Запад он знал хорошо; он был воспитан на всех ухищрениях его мудрости, он умел сочувствовать всем движениям тамошней общественной жизни, был зорким и чутким зрителем нескольких революций. И он пришел к тому убеждению, что нет живого духа на Западе, что все его мечты обновления не имеют внутренней силы, что одно верно и несомненно — смерть, духовное вымирание, гибель всех форм тамошней жизни, всей западной цивилизации <...> На эту тему написаны лучшие, остроумнейшие и глубоко-мысленнейшие его статьи. И наибольшее поучение, кото-

рое можно извлечь из Герцена, конечно, заключается в том анализе явлений западной жизни, которым он подтверждает свою мысль о падении Запада»²⁰.

Надо еще раз подчеркнуть, что его неприятие Запада несколько не было связано с материальными условиями его жизни. Герцен сумел удачно заложить свои имения с крепостными и приехал на Запад миллионером. Когда слабое царское правительство попыталось наложить руку на его богатства, он обратился за помощью к банкиру Ротшильду, которого потом называл некоронованным королем мещан, и Ротшильд отстоял его миллионы, позволившие ему далее вести революционную пропаганду, издавать «Колокол», «Полярную звезду», «Голоса из России» и пр. Он был, конечно, человек мира, но в отличие от античного космополита Диогена — богатым, ибо, как любил повторять сам Герцен, деньги дают независимость²¹. Его оппоненты не раз отмечали эту практичность, сочетавшуюся с идеализмом. Скажем, Достоевский писал о нем в «Дневнике писателя»: «Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только “логического течения идей” и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий

²⁰ Страхов Н. Н. Главное открытие Герцена // Страхов Н. Н. Литературная критика. М.: Современник, 1984. С. 38.

²¹ В «Былом и думах» он рассказывал, как, узнав в декабре 1849 года, что доверенность на залог его имения, посланная из Парижа и засвидетельствованная в посольстве, уничтожена и что вслед за тем на капитал его матери было наложено запрещение, он тотчас же бросил Женеву и поехал к матери. При этом он высказал свое кредо, что глупо или притворно было бы пренебрегать состоянием, ибо деньги — сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское.

писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлексёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был <...> всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел»²².

Запад оказался, так ему почудилось, и виновником его семейной драмы. Об этом одни из самых ярких страниц «Былого и дум». Речь идет о любви его жены Наташи к немецкому поэту Гервегу. «Рассказ о семейной драме», поразительный по своей искренности и незащитности, но направленный на самооправдание, по сути равен «Исповеди» Ставрогина, ибо это рассказ о том, как миллионер, изменяя жене, узнав, что жена полюбила, практически зашельмовал ее до смерти²³. Этот текст равен откровенности Руссо, рассказавшему в «Исповеди» о своем онанизме, откровенности «Записок эгоиста» Стенда-

²² Достоевский Ф. М. Старые люди. Дневник 1873 г. // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С. 9.

²³ «Всю свою жизнь Герцен воспринимал внешний мир отчетливо, в должных пропорциях, хотя и через призму своей романтической личности, в соответствии со своим впечатлительным, болезненно организованным Я, находящимся в центре его вселенной. Независимо от того, как велики его страдания, он как художник сохраняет полный контроль над трагедией, которую переживает, да при этом еще и описывает ее. Может быть, эгоизм художника, который демонстрирует все его творчество, является отчасти причиной того удущья, которое испытывала Натали, и причиной отсутствия каких-либо умалчиваний в его описании происходивших событий: Герцен несколько не сомневается в том, что читатель поймет его правильно, более того, что читатель искренне интересуется каждой подробностью его — писателя — умственной и эмоциональной жизни. Письма Натали и ее отчаянное стремление к Гервегу показывают меру все более разрушительного воздействия герценовского самоослепления на ее хрупкую экзальтированную натуру. Мы знаем сравнительно немного об отношениях Натали с Гервегом: вполне возможно, что между нею и Герве-

ля. Это едва ли не впервые выраженный с таким талантом и глубиной человеческий эксгибиционизм. То есть человек так велик, что позволяет о себе писать все. Позднее на такое решился, пожалуй, только Август Стриндберг в автобиографическом романе «Слово безумца в свою защиту». Сам же Герцен писал раньше (как бы развязывая себе руки): «В будущую эпоху нет брака, жена освободится от рабства, да и что за слово жена?.. Женщина до того унижена, что, как животное, называется именем хозяина. Свободное отношение полов, публичное воспитание и организация собственности. Нравственность, совесть, а не полиция, общественное мнение определяет подробности сношений» (I, 290). А затем без зазрения совести увести жену друга, прямо из супружеской постели, которая находилась в его, Герцена, доме. Чем не Ставрогин? К тому же Герцен получил швейцарское гражданство, как и Ставрогин. Это тема художественного восприятия Достоевским идей Герцена. Об этом позже. Важно, что его личный враг Гервег становится для него символом и образом европейского мещанства. А борьба с мещанством — пафосом его творчества и объяснением его революционаризма.

МЕЩАНСТВО

Если снова вспомнить Иванова-Разумника, то он говорит о расширительном смысле, который вкладывает в это понятие Герцен: «Термин “мещанство” употребляется Герценом в двух смыслах: в узком, сословном и классовом, и в широком, внеклассовом и внесословном; первое значение является только частным случаем второго. Самый термин “мещанство” впервые введен именно Герценом; Герцен первый дал понятию “мещанства” внесослов-

ном была физическая близость, — напыщенный литературный стиль этих писем больше скрывает, чем обнаруживает; но одно несомненно — она чувствовала себя несчастной, загнанной в тупик и неодолимо влекла к себе своего возлюбленного. Герцен если и чувствовал это, то понимал очень смутно» (*Берлин Исая*. Александр Герцен и его мемуары // *Берлин Исая*. Подлинная цель познания. М.: Канон+, 2002. С. 610).

ное и внеклассовое этическое значение; так что мы в предлагаемом читателям труде только следуем за терминологией родоначальника народничества. Буржуазия для него только центр мещанства, но мещанство — шире; ибо оно имеет не сословный смысл и отнюдь не является переводом и заменой термина “bourgeoisie”, смысл которого зиждется на социально-экономической почве»²⁴.

Надо сказать, что историк русской общественной мысли слишком увлечен своим героем и своей трактовкой русской культуры, что забывает Пушкина, назвавшего себя «русским мещанином», причем отнюдь не в отрицательном контексте. Что же вменяет в вину Герцен Европе как мещанской цивилизации? Но это определение он дает не сразу. В своей жестокой и блистательной книге «С того берега» он пишет только об измельчании европейского духа: «Все мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, — нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля и Бонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии; все нищают, не обогащая никого; кредиту нет, все перебиваются с дня на день, образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими; никто не берет оседлости; все на время, наемно, шатко. Это то тяжелое время, которое давило людей в третьем столетии, когда самые пороки древнего Рима утратились, когда императоры стали вялы, легионы мирны. Тоска мучила людей энергических и беспокойных до того, что они толпами бежали куда-нибудь в фиваидские степи, кидая на площадь мешки золота и расставаясь навек и с родиной, и с прежними богами. — Это время настает для нас, тоска наша растет!» (VI, 57—58).

Но у него остается надежда на социалистический переворот, который он сравнивает постоянно с христиан-

²⁴ *Иванов-Разумник Р. И.* Указ. изд. Т. 2. С. 16.

ским²⁵ (справедливо или нет — другой вопрос, но такое сравнение тогда было в ходу), поэтому постоянны его аллюзии по поводу Европы как Рима и социалистов как христиан. Но даже «предлагая пари за социализм» (VI, 58), который идет на смену нынешней Европе, он понимал его прежде всего не как естественную, закономерную перестройку общества, а как своего рода новое переселение народов, которое должно уничтожить все предшествующие ценности. «Я часто воображаю, как Тацит или Плиний умно рассуждали со своими приятелями об этой нелепой секте назареев, об этих Пьер Ле-Ру, пришедших из Иудеи с энергической и полубезумной речью, о тогдашнем Прудоне, явившемся в самый Рим проповедовать конец Рима <...> Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? — Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот...» (VI, 58). Правда, окончание книги звучит мажорно: «Заметим даже, что иной раз древний мир был прав против христианства, которое подрывало его во имя учения утопического и невозможного. Может, и наши консерваторы иногда правы в своих нападках на отдельные социальные учения... но к чему им послужила их правота? Время Рима проходило, время евангелия наступало!» (VI, 142).

Христианство — это безумие, полагал Герцен, но и социалисты — тоже безумцы, однако через безумие движется история, таково его глубочайшее убеждение. Об этом писал он и всерьез, и полуиронически в блистательном тексте «Aphorismata. По поводу психиатрической теории д-ра Крупова», где ирония лишь заостряла мысль: «Без хронического, родового помешательства прекратилась бы

²⁵ Он писал в «Prolegomena»: «Мы прекрасно знаем, что нелегко определить конкретно и просто то, что мы понимаем под радикальной революцией. Рассмотрим <...> единственный пример, предлагаемый нам историей: *революцию христианскую*» (XX, 1, 58).

всякая государственная деятельность <...> с излечением от него остановилась бы история. Не было бы ей занятия, не было бы в ней интереса. Не в уме сила и слава истории, да и не в счастье, как поет старинная песня, а в *безумии*» (XX, 1, 115).

И он задавал «с того берега» вопрос современной ему Европе: «Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями, — плодов, которыми мы хвастаемся три столетия, которые нам так дороги, *лишиться* всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дикую юность — образованной дряхлости, необработанную почву, непроходимые леса — истощенным полям и расчищенным паркам, сломать свой наследственный замок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построится, без сомнения, гораздо после нас? Это вопрос безумного, скажут многие. — Его делал Христос иными словами» (VI, 52). И вопрос этот для Герцена не случаен, ибо «социализм соответствует назарейскому учению в Римской империи» (там же, 78). Итак, вопрос был прост: способна ли современная Европа на безумие, предполагающее разрушение всего предшествующего накопленного культурного и социального богатства? Для Искандера, для Александра Македонского, надеявшегося с помощью западноевропейской революции разрушить Российскую империю, ради борьбы с которой он покинул Родину, это был кардинальный вопрос. Но чем дольше он наблюдал европейскую жизнь, чем отчетливее видел, что даже рабочие мечтают о тихой, частной, спокойной жизни, что революционные призывы перестали на них действовать, тем яснее ему виделось, что Европа ушла в некую тихую гавань, перейдя от революционной к эволюционной форме социального развития. Наступает разочарование, которое в «Концах и началах» заканчивается суровой инвективой Западу, подхваченной другими русскими мыслителями: «Да, любезный друг, пора прийти к покойному и смиренному сознанию, что *мещанство* окончательная форма западной цивилизации, ее совершенноле-

тие — *état adulte*; им замыкается длинный ряд его сновидений, оканчивается эпопея роста, роман юности — все, вносившее столько поэзии и бед в жизнь народов. После всех мечтаний и стремлений... оно представляет людям скромный покой, менее тревожную жизнь и посильное довольство, не запертое ни для кого, хотя и недостаточное для большинства. Народы западные выработали тяжким трудом свои зимние квартиры. Пусть другие покажут свою прыть. Время от времени, конечно, будут еще являться люди прежнего брожения, героических эпох, других формаций — монахи, рыцари, квекеры, якобинцы, но их мимолетные явления не будут в силах изменить главный тон» (XVI, 183).

Но тем самым был поставлен вопрос о том, что есть мещанство в структуре европейской, отчасти и русской жизни? Есть ли это умирание, засыпание, новая *китайщина*, выступавшая для Герцена как символ социально-общественной недвижности? Возмущение радикала, что кто-то может предпочесть свою частную, сытую и удобную жизнь «безумным» идеям, очевидно. С легкой руки Герцена (это тоже его влияние) понятие мещанства становится ругательным в устах радикалов вплоть до советских времен.

Стоит вспомнить реальное (социокультурное) значение слова *Мещанство* (от польск. *mieszczanin* — горожанин) — сословие в Литовском, Пospолитой и государстве до года. В России, почти не знавшей городов в европейском смысле слова, мещанство как сословие укреплялось долго и с трудом. Быть мещанином означало для бедных слоев войти в статус хотя бы небольшой социальной независимости, способность прокормить семью, отправить детей учиться и чувствовать себя самодостаточным. Это была позиция русских разночинцев, воспевавших этот статус, достаточно напомнить роман Н. Помяловского «Мещанское счастье», где герои отстаивают статус независимости от всех чуждых им влияний. Но и еще раньше об этом сказал Пушкин, искавший внутри самодержавного государства уголок частной независимости.

Вот фраза из его прозаического отрывка «Гости съезжались на дачу»: «Древнее русское дворянство <...> упа-

ло в неизвестность и составило род третьего состояния». Казалось бы, шаг огромный — от родовитых и знатных в истории семей до третьего сословия, которое на Руси именовалось еще и «мещанством». Но шаг этот сделан был историей, и Пушкин осознал его всей своей судьбой.

Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Запросто общавшийся с царями, осознававший себя и свой род неотъемлемой частью русской истории, поэт назвал себя «русским мещанином». Это из стихотворения «Моя родословная», где гордо обозначено историческое значение рода Пушкиных: «Мой предок Рача мышцей бранной / Святому Невскому служил». Но там же сказано и о «нижегородском мещанине» Минине, послужившем орудием спасения России. И там же является негри-тянский предок Пушкина — «царю наперсник, а не раб». Возникло это стихотворение после ксенофобской выходки Булгарина, назвавшего мать Пушкина «мулаткой». Но оно стало чем-то большим, нежели доказательством своей и своих предков исторической значительности. Он вдруг соглашается с пасквилянтом, окрестившим поэта «мещанином во дворянстве» (используя мольеровский образ). И не менее гордо, чем о своем шестисотлетнем дворянстве, громогласно заявляет: «Я сам большой: я мещанин».

Надо сказать, что герценовский приговор мещанству в общественном сознании перебил пушкинскую и разночинскую трактовку. Правда, когда у нас говорят о героях Зоценко как о мещанах, повторяя советскую трактовку, забывают, что жизнь коммунальных квартир, описанных Зоценко, — это жизнь люмпенов, но отнюдь не мещан. Маленькие зачатки «я» в мещанстве пытались выкорчевать, заменив громким «МЫ» строителей нового общества. Статьи о мещанстве классика соцреализма М. Горького, сумасшедшая борьба с фикусами и канарейками — все это была борьба с символикой, уничтожив которую, хотели отменить частную жизнь советского человека. Смеш-

но сказать, но идеологом мещанства назывался даже не Зоценко, а трагический Достоевский, герои которого и впрямь из прослойки мещанской, что не мешает им задавать миру и жизни вопросы пушкинского уровня. Ибо у них есть вопросы. Тоталитаризм противостоит мещанству, опираясь на толпу, на стадо, о чем наиболее убедительно писал Элиас Канетти («Масса и власть»).

Поразительна игра истории, что человек с такой страстью писавший о силе личности, о важности ее для развития революции и культуры²⁶, оказался родоначальником тоталитарного отношения к личности. Воистину «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». И уж не говорю о Нечаеве, полагавшем карать смертью всякого уклоняющегося от «общего дела», даже ближайший друг Герцена (впрочем, с благословения последнего звавший Русь к топору), давший с ним «аннибалову клятву» на Воробьевых горах, где два молодых человека осуществляли свой *личный выбор*, писал вскоре после смерти Герцена в поддержку фиктивного нечаевского Центра: «Такой центр в России существует. Его трудно было образовать, но, раз образовавшись, он стоит перед напором всевозможных реакций. Обязанность всякого честного русского деятеля в настоящие дни — примыкать к коллективному целому»²⁷. Разумеется, мещанин к коллективному целому примыкать не желал. Его волновала «дочка, дачка,

²⁶ «Не нужно ли было бы постараться всеми средствами призвать русский народ к сознанию его гибельного положения — пусть даже в виде опыта, — чтобы убедиться в невозможности этого? И кто же иной должен был это сделать, как не те, кто представляли собою разум страны, мозг народа, — те, с чьей помощью он старался понять свое собственное положение? Велико их число или мало — это ничего не меняет. Петр I был один, декабристы — горстка людей. Влияние отдельных личностей не так ничтожно, как склонны думать; личность — живая сила, могучий бродильный фермент — даже смерть не всегда прекращает его действие. Разве не видели мы неоднократно, как слово, сказанное кстати, заставляло опускаться чашу народных весов, как оно вызывало или прекращало революции?» (VII, 243—244).

²⁷ *Огарев Н. П.* Сплотимтесь дружно! // *Огарев Н. П.* О литературе и искусстве. М.: Современник, 1988. С. 163.

тишь да гладь» и он не понимал, почему он должен рушить свою жизнь и жизнь семьи во имя чужих идей.

Правда, сегодня пытаются увидеть в мещанстве, избраженном Герценом, предчувствие массового общества эпохи нацизма, фашизма, сталинизма и т. п. К этой мысли сильная подпора в рассуждениях великого русского религиозного философа С. Булгакова: «Из того же непосредственного опыта известно, что в разные времена жизни преодолевает то одно, то другое начало, сила мещанства то увеличивается, то ослабевает. Что наблюдается в жизни индивида, то повторяется в жизни человеческих обществ в различные эпохи истории. Бывают эпохи нравственного подъема и нравственного упадка или застоя. Сознание и совесть начинают заменяться рутинной и чувственностью, и сплоченное мещанство мстительно преследует тех, кто стремится разбудить общественную совесть. От него не гарантирует, как убедился Герцен, и демократия сама по себе. Мещанство самой свободной и демократической республики Греции казнило Сократа за то, что он хотел быть оводом, жалившим афинский народ, как ленивого коня, а еврейское мещанство устроило Голгофу за то, что услышало проповедь освобождения внутреннего духовного человека от мещанина. Сатаническое начало мира, «князь мира сего», есть именно олицетворенное мещанство, спекулирует на духовный упадок, дряблость, рутину, порабощение «плоти»; демонизм — составляет удел слишком немногих натур, и иронический черт Ивана Федоровича Карамазова недаром является в образе мещанина»²⁸.

Думается, что слишком велико обаяние герценовского слова, ибо даже Булгаков не задумался о реальности приводимых им примеров. Трудно назвать древнегреческих ремесленников мещанами: были там аристократы, крестьяне и ремесленники (то есть народ), а также рабы. Сократа осудил народ, Христа тоже. Евреи просили освободить бунтаря Варавву, а Христос казался соглашателем

²⁸ *Булгаков С. Н.* Душевная драма Герцена // *Булгаков С. Н.* Сочинения в 2 тт. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 127.

с Римом. Он же очень по-мещански сказал евреям: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (*Мк*; 12, 17). То есть хотел избежать крайностей бунта, в том числе и политического. В Евангелии так и сказано: «Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство» (*Лк*; 23, 18–19).

Что же касается черта Ивана Федоровича, то перед нами отнюдь не мещанин, а персонаж, напоминающий разорившегося русского барина, именно из того слоя русских бар-крепостников, к которым относил Достоевский Герцена. Вчитаемся в описание: «Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве; очевидно, видевший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор, но малопомалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона» («Братья Карамзовы»). Разумеется, этот персонаж нисколько не похож на мещанина, живущего своим домиком, думающего о своем благоустройстве. Это персонаж из круга Герцена, каким мог бы стать и сам Герцен, если б не деловая хватка и не миллионы, каким стал его друг Огарев, живший приживалом при Герцене. Вряд ли самостоятельно живший отдельным домом дворянин с такой легкостью уступил бы другу-хозяину свою жену. Кстати, стоит отметить и неожиданный вопрос, который задает Иван Федорович черту — о топоре: «А там может случиться топор?» Там — это в отдаленных от России, почти межзвездных пространствах. Вопрос не случайный, ибо именно «Колокол» призывал Русь к топору из своих внеземных пространств. И страшный, если вдуматься, ответ черта: «Что станется в пространстве с топором? <...> Примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника». Стоит вообразить топор в качестве вечного спутника земли, вечной угрозы бойни, поневоле охватит испуг. Не забудем и того, что черт Ивана Федоровича аттестует себя по отделению критики. Во-первых, вряд ли мещанин пустится в критику, а во-вторых, большей критики, нежели звучала в «Колоколе», Россия не знала.

Любопытно, однако, что апологетом отказа от государственно-политической жизни, апологетом великого значения частной жизни выступил в «Развитии революционных идей в России» сам Герцен: «В недрах губерний, а главным образом в Москве, заметно увеличивается прослойка независимых людей, которые, отказавшись от государственной службы, сами управляют своими именьями, занимаются наукой, литературой; если они и просят о чем-либо правительство, то разве только оставить их в покое» (VII, 213). А ведь это не что иное, как апология частной жизни, то есть мещанства. Напомню, что не случайно Пушкин именовал русское дворянство третьим сословием, а себя мещанином. Именно из подобного рода независимой среды вырастают и те, кто способен преодолеть свою среду, кто способен двигаться по пути истории. Но пафос герценовской концепции в том и состоит, что он думал о прямом союзе высшей аристократии с народом минуя третье сословие. Герцен как всегда ярко и броско формулирует свой идеал развития русской культуры и жизни, апеллируя к образам русской художественной литературы: «Как видите, все зависит от того, удастся ли установить внутреннее единение Владимира Ленского, студента Геттингенского университета, поклонника Шиллера и Гете, утопического мечтателя, поэта с длинными кудрями, с нашим старым Глебом Савиным, этим практическим философом с суровым, сильным характером, этим подлинным представителем циклопической расы крестьян-рыбаков. Поймут ли они когда-нибудь друг друга?» (XIII, 180).

Герцен призывал к восстанию масс, но под этой массой он понимал народ, полагая, что средний класс, мещанство, ни на какое революционное действие не способно²⁹. И чтобы уж завершить эту тему, обозначу и ту проблему, которую сегодня так часто поднимают: что Герцен оказался

²⁹ Для него понятие мещанства и понятие масс — различные понятия. Мещанство — это средний класс, через его голову протягивают идеалисты-аристократы руку массам. Задача в том, чтобы понять истинное желание масс. В работе «С того берега» это непонимание сути масс обозначено точно: «Вы можете угадать народную мысль, это будет удача, но скорей вы ошибетесь. Вы и массы принадлежите

предшественником К. Леонтьева³⁰ в своем отношении к «среднему европейцу». Действительно, Леонтьев не раз ссылался на эстетически безгловое отношение Герцена к среднему слою Европы: «Герцен был настолько смел и благороден, что этой своей аристократической безгловости не скрывал. И за это честь ему и слава. Он был специалист, так сказать, по части жизненной реальной эстетики, эксперт по части изящества и выразительности самой жизни <...> Всеобщая буржуазная ассимиляция его ужасает»³¹.

Но и разница принципиальная. Леонтьев видит красоту в самодержавии, а потому средний европеец, идущий к демократии, — мещанин и противен. Герцен против самодержавия, против империи, мечтает о русском народе как носителе социалистической идеи, для Леонтьева же русский народ приемлем лишь потому, что он православный. Один ненавидел мещанство, потому что оно ведет к демократии, губит самодержавие (Леонтьев), другой ненавидел мещанство, потому что оно не радикализируется, не идет в революцию (Герцен). «С того берега» уже и европейская демократия была неприемлема для Герцена: «Демократия, впрочем, и не идет так далеко, она сама еще стоит на христианском берегу, в ней бездна аскетического романтизма, либерального идеализма; в ней страшная мощь разрушения, но как примется создавать, она теряется в ученических опытах, в политических этюдах. Конечно, разрушение создает, оно расчищает место, и это уж создание; оно отстраняет целый ряд лжи, и это уж истина. Но

двум разным образованиям, между вами века, больше, нежели океаны, которые теперь переплывают так легко. Массы полны тайных влечений, полны страстных порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией, у них она не остается по-нашему теорией, она у них тотчас переходит в действие, им оттого и трудно привить мысль, что она не шутка для них. Оттого они иногда обгоняют самых смелых мыслителей, увлекают их поневоле, покидают середь дороги тех, которым поклонялись вчера, и отстают от других вопреки очевидности; они дети, они женщины, они капризны, бурны, непостоянны» (VI, 67).

³⁰ См.: *Грецова Е. С.* Философия культуры А. И. Герцена и К. Н. Леонтьева. М.: Изд. РУДН, 2002.

³¹ *Леонтьев Константин.* Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // *Леонтьев Константин.* Избранное. М.: Парог, Московский рабочий, 1993. С. 135.

действительного творчества в демократии нет — и потому-то она не будущее. Будущее вне политики, будущее носится над хаосом всех политических и социальных стремлений и возьмет из них нитки в свою новую ткань, из которой выйдут саван прошедшему и пеленки новорожденному. Социализм соответствует назарейскому учению в Римской империи» (VI, 78).

КТО СПОСОБЕН НА СОЦИАЛИЗМ?

Если Европа изжила в себе революционные потенции, хотя и доработалась до самой идеи социализма, то кто же способен реализовать эту идею? Книга «О развитии революционных идей в России» решала именно эту проблему. Тютчев полагал Россию бастионом против всех революционных потрясений. Россию воспринимал он как единственную силу, способную противостоять разрушительным силам. Герцен в ответ Тютчеву показывает, используя известные слова, что революцию Россия «выстрадала».

Русскую литературу он читает почти как революционную прокламацию. Говоря о литературе и искусстве, Герцен напрямую связывает литературное развитие с революционным. Вот о декабристах: «Время для тайного политического общества было выбрано прекрасно во всех отношениях. Литературная пропаганда велась очень деятельно. Душой ее был знаменитый Рылеев; он и его друзья придали русской литературе энергию и воодушевление» (VII, 198). Но еще более поразительно дальнейшее изложение, когда, описывая ситуацию после поражения декабристов и показывая, что за малейший неверный шаг, за простые социальные споры, за чтение книжек, по малейшему подозрению в крамоле люди шли десятками и сотнями на каторгу и на казнь, рассказывая о дальнейшем развитии литературных и философских споров, когда уже не существовало никаких революционных заговоров, тем паче партий, а единичные кружки, которые только *намеревались* что-то делать, были разгромлены (как петрашевцы), уделяя описанию этой ситуации примерно половину книги, Герцен по-прежнему уверен, что описывает не просто литературное, а революционное движение,

развитие революционных идей. Иными словами, литература и искусство становятся под его пером синонимами революционной деятельности (по крайней мере, для России). В этой мысли и заключается, на мой взгляд, центр, зерно герценовской общественно-эстетической концепции. Но этого мало. Во-первых, многие тексты остались неопубликованными, во-вторых, необходимо прямое обращение к обществу, общество надо будить.

Принципиальное, кардинальное отличие Герцена от всех до него существовавших политических беглецов, эмигрантов и изгнанников в том, что все они (как и Герцен до поры до времени) писали и издавали за рубежом *свое*, ими самими написанное, это был как бы личный акт несогласия и протеста против самодержавия. Герцен создал Вольную русскую типографию, то есть предоставил свой типографский станок в распоряжение *всем* проявлениям свободной русской мысли³², создал для каждого вольнодумного русского человека возможность высказаться, некую гарантию, что мысль не погибнет. Он желал сделать свою типографию и свои издания, как писал в объявлении о журнале, «убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею». Герцен прекрасно знал нравы российской полицейской машины, потому и восклицал: «Рукописи погибнут наконец, — их надобно закрепить печатью» (XII, 270). Итак, Герцен считал, что путь обычного эмигрантства им уже пройден, он снимает с себя «вериги чужого языка» (вспомним, что Чаадаев советовал ему сродниться с каким-либо западноевропейским языком: и в самом деле, первые работы Герцена писались и печатались им по-французски и по-немецки — «С того берега», «О развитии революционных идей в России» и т. д.) и снова принимается «за родную речь». Созданием «вольного русского книгопечатания» Герцен решал первый вопрос:

³² «Новым в деятельности Вольной типографии, — пишет Эйдельман, — была борьба за максимально возможную в тех условиях широкую *массовую основу*» (*Эйдельман Натан*. Тайные корреспонденты «Полярной звезды» // *Эйдельман Натан*. Свободное слово Герцена. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 182).

выигрывал борьбу за сохранение и развитие свободной русской мысли.

В своей типографии он издает разнообразные сборники («Голоса из России» и др.), альманах «Полярная звезда» и, наконец, самый популярный орган бесцензурной печати — газету «Колокол», своего рода прототип ленинской «Искры»³³. Чаадаев писал, что символ России — колокол, который не звонит (имея в виду «царь-колокол», как проявление рабской немоты русской культуры). Словно бы в ответ своему великому предшественнику Герцен начинает бить в колокол, звонить в колокол, «звя живых», тех, кто еще способен проснуться от «мертвого сна» николаевского царствования.

Но кого он будил? К кому обращался? Кого должны были воспитывать литература и искусство? Очевидно, то просвещенное меньшинство, о котором не раз с такой симпатией писал Герцен. Если люди культуры не пойдут навстречу народу, то либо произойдет беспощадный пугачевский бунт, либо самодержавие, опираясь на обманутый им народ, все равно раздавит искусство и просвещение: «В обоих случаях вы погибли, а с вами и то образование, до которого вы доработались трудным путем, оскорбительными унижениями и большими неправдами» (XII, 83—84).

Западники, «русские европеисты», упрекали Герцена в славянофильстве, в том, что он подбивает идти учиться мудрости у неграмотного русского народа, забыв свои европейские пристрастия и симпатии. Герцен отвечал: «Вы любите европейские идеи, — люблю и я их... Без них мы

³³ Как и Герцен, Ленин подхватывает декабристскую символику («Из искры возгорится пламя»), но уходит от ее романтики, наполняет новым содержанием — идеей создания партийной организации с железной дисциплиной, идеей, почерпнутой им у молодых последователей Герцена — Ткачева и Нечаева: «Мы должны <...> пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть *политических* обличений <...> мы обязаны создать трибуну для всенародного обличения царского правительства; — такой трибуной должна быть социал-демократическая газета <...> Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 10—11).

впали бы в азиатский квиетизм, в африканскую тупость. Россия с ними и только с ними может быть введена во владение той большой доли наследства, которая ей достается. В этом мы совершенно согласны. Но вам не хочется знать, что теперичная жизнь в Европе несообразна ее идеям» (XII, 425).

Итак, революцию нужно ждать из России. Но главной силой будет указанная Бакуниным красота смерти, о которой писал и Герцен: «Проповедуйте весть о смерти, указывайте людям каждую новую рану на груди старого мира, каждый успех разрушения; указывайте хилость его начинаний, мелкость его домогательств, указывайте, что ему нельзя выздороветь, что у него нет ни опоры, ни веры в себя, что его никто не любит в самом деле, что он держится на недоразумениях; указывайте, что каждая его победа — ему же удар; проповедуйте *смерть* как добрую весть приближающегося искупления» (VI, 76).

Этот преступный эстетизм в отношении Герцена к общественной жизни в России очень хорошо увидел Борис Чичерин, блистательный историк, как и Герцен, выученик гегелевской философии, но прочитавший ее не как «алгебру революции», а как путь к реальной, обеспеченной всеми средствами свободе личности и преодолению произвола в жизни с помощью государства. Стоит внимательно вчитаться в его «Письмо к издателю “Колокола”», опубликованное в 1858 году, где впервые указывалось на того, кого общественность в те годы считала зовущим Русь «к топору»: «Вы к гражданским преобразованиям довольно равнодушны. Гражданственность, просвещение не представляются Вам драгоценным растением, которое надобно заботливо насаждать и терпеливо лелеять как лучший дар общественной жизни. Пусть все это унесется в роковой борьбе, пусть вместо уважения к праву и к закону водворится привычка хвататься за топор — Вы об этом мало тревожитесь. Вам во что бы ни стало нужна цель, а каким путем она достигается — безумным и кровавым или мирным и гражданским, это для Вас вопрос второстепенный. Чем бы дело ни развязалось — невообразимым актом самого дикого деспотизма или свирепым разгулом разъяренной толпы — Вы все подпишете, все благословите. Вы не толь-

ко подпишете, Вы считаете даже неприличным отворачивать подобный исход. В Ваших глазах это поэтический каприз истории, которому мешать неучтиво. Поэтический каприз истории! Скажите, пожалуйста, когда Вы писали эти слова, как Вы на себя смотрели: как на политического деятеля, направляющего общество по разумному пути, или как на артиста, наблюдающего случайную игру событий?

Политический деятель имеет в виду не только цель, но и средства. Зрелое обсуждение последних, точное соображение обстоятельств, избрание наилучшего пути при известном положении дел — вот в чем состоит его задача, и ею он отличается от мыслителя, изучающего общий ход истории, и от художника, наблюдающего движение человеческих страстей. То, что Вы называете поэтическим капризом истории, действием самой природы, есть дело рук человеческих. Сама природа здесь — Вы, я, третий, все, кто приносит свою лепту на общее дело. И на каждом из нас, на самых незаметных деятелях лежит священная обязанность беречь свое гражданское достоинство, успокаивать бунтующие страсти, отворачивать кровавую развязку. Так ли Вы поступаете, Вы, которому Ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы вправе спросить это у Вас, и какой дадите Вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу — вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в России много сочувствия!»³⁴

Но почему — топор? Топор — это мифологически отработанное в интеллигентском сознании оружие крестьянского бунта. А бунтовать должны крестьяне, ибо община несет в себе элементы социализма, то есть будущего. Герцен полагал, что наличие общинной структуры в крестьянской жизни (статья «Русский народ и социализм»)

³⁴ Чичерин Б. Н. Письмо к издателю «Колокола» // Чичерин Б. Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 368.

есть необходимый элемент, зародыш, являющийся своеобразной, но *живой* формой социалистической организации жизни, до которой Европа додумалась *теоретически*. «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательств власти; она благополучно дожила *до развития социализма в Европе*» (VII, 323). Мы не будем здесь вдаваться в рассуждения о реальной роли общины, которая скорее всего была организована гораздо позднее с фискально-полицейскими целями (сбор налогов, взимание недоимок, взаимная ответственность членов общины перед помещиком и правительством и т. д.). Существенно, какую роль играла *идея общины* в идеологических построениях Герцена, да и других русских мыслителей. Для Герцена открытие общины как фактора коммунистической организации русского крестьянства означало не только уход Европы (у которой не было такой формы жизни) с исторической арены, замену ее Россией, но и уверенность в социалистическом движении страны. Об этой герценовской вере довольно жестко высказался Булгаков: «Что противопоставлял Герцен европейскому мещанству, которое его так глубоко оскорбляло, и почему он считал Россию призванною осуществить идеи Запада? Ответ поражает своей несообразностью, своим несоответствием вопросу, и в этом опять сказывается вся ограниченность мировоззрения Герцена: потому, что в России сохранилась всеми правдами и неправдами поземельная община и признание в ней права всех на землю (как известно, признание довольно проблематическое). Таким образом, огромная нравственная проблема, мировой вопрос в полном смысле слова, вопрос о возможности настоящей, т.е. не мещанской, цивилизации унижается, вульгаризируется таким до детскости наивным и до мещанства материалистическим ответом. В этом фатальном несоответствии вопроса и ответа, размаха и удара есть что-то поистине трагическое... Герцен снова и со всей силою ударяется головой о границы своего позитивного мирозерцания, которое слишком тесно для его запро-

сов. И на вопрос, заданный Фаустом, неожиданно отвечает Вагнер»³⁵. Но Вагнер, как известно, создал Гомункула, который не подчинился своему создателю. Был ли Гомункул у Герцена? Ведь призыв к топору должен был чем-то завершиться...

Эта тенденция чувствовалась с самого начала колокольного звона за рубежом. Герцен свое вольное книгопечатание начал угрозой (1853), еще до всяких восстаний в селе Бездна (название символическое — в эту *Бездну* потом и рухнула Россия) пообещав новую пугачевщину: «Страшна и Пугачевщина, но скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено»³⁶. Поразительно, что, словно подтверждая угаданную Чичериним линию его «Колокола», Герцен накануне освобождения крестьян печатает печально знаменитое «Письмо из провинции». Напомню, что автор этого весьма известного письма, опубликованного в «Колоколе», вполне серьезно заявлял: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не может!»³⁷. И подписывался не как-нибудь, а в твердой уверенности, что выражает мнение *всех*, — «Русский человек», показывая тем самым, что сущность национальной психеи, достижение национального единства видит в кровавой мясницкой резне. Действительно, традиция насилия имела слишком много адептов. Этот путь, как понятно, был утвержден в отечественной ментальности после большевистской революции эпохой ленинско-сталинского террора. Да и сегодня на улице постоянно слышишь о лицах, враждебных говорящему: «Расстрелять их, и дело с концом». Текст очень долго приписывался Чернышевскому. Но можно вообразить и другую картину: в одной комнате один друг пишет «Письмо из провинции», обсуждая с

³⁵ Булгаков С. Н. Указ. соч. С. 129.

³⁶ Юрьев день! Юрьев день! // Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация Под ред. Е. Л. Рудницкой. М.: Археографический центр, 1997. С. 57.

³⁷ Письмо из провинции // Революционный радикализм в России. С. 84.

единомышленником наиболее удачные выражения, а потом, чисто по-журналистски, они пытаются отвести удар от «Колокола», и издатель довольно вяло возражает своему якобы оппоненту.

Я помню свой разговор с Эйдельманом, когда я сказал, что отрицаю авторство Чернышевского, ибо автор этого письма проговаривается, сообщая, что жил в «глухой провинции» во время Крымской войны, но Саратов никогда не был глухой провинцией, да к тому же в это время Николай Гаврилович уже переехал в Петербург, а в провинции застрял другой совсем человек, будущий эмигрант. «Вы намекаете на Огарева? — задумчиво спросил Эйдельман. — Действительно “Р. Ч.” и “Русский человек” его постоянные псевдонимы. Но чтобы друг Герцена — вряд ли... Во всяком случае, ясно, что это не Чернышевский». Я не думал тогда об Огареве, но быстрота реакции моего собеседника показала, что он-то думал именно о нем³⁸. И правда, Огарев, друживший во второй, эмигрантской, жизни скорее не с Герценом, а с Бакуниным, называвшим страсть к разрушению творческой страстью, активно поддерживавший Нечаева, больше подходил этому письму, нежели

³⁸ Факт общеизвестный, что постоянные псевдонимы Огарева — «Р. Ч.» и «Русский человек» (см. хотя бы обстоятельную книгу: *Конкин С.* Николай Огарев. Саранск. 1982. С. 258). Надо также добавить, что одну из первых своих публикаций в вольной печати в 1857 году в «Полярной звезде» Огарев назвал «Письмо из провинции». Так что публикация в 1860 году в «Колоколе» нового «Письма из провинции» за подписью «Русский человек» достаточно прозрачно сообщала читателям о едином авторе обоих текстов. Не забудем и того, что уже с конца 50-х годов одним из главных энтузиастов создания тайной революционной организации всероссийского масштаба был не Чернышевский, а именно Огарев (см.: *Рудницкая Е.* Русский радикализм // Революционный радикализм в России. С. 35). Существенно добавить, что в предисловии «От редакции» к пресловутому письму Герцен не раз называет это письмо дружеским, что вряд ли бы он сделал по отношению к авторам «Современника» — Чернышевскому и Добролюбову, о которых он всего год назад опубликовал статью «Very dangerous!!!», где назвал оппонентов «милыми паяцами» и предсказал им правительственную службу и «Станислава на шею». Вряд ли не отметил бы он изменение позиции Чернышевского в свержение революционность.

ироничный и осторожный Чернышевский, считавший самым важным не гибель, а жизнь человека. В конце 60-х Огарев выступил уже открыто с самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-прокламации «Гой, ребята, люди русские!..»:

«Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие!
Добывайте ножи острые
На поповские груди белые!
Подымайтесь добры молодцы
На разбой — дело великое!»

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ИЛИ НЕЧАЕВ?

Но Огарев, конечно, не Гомункул. Его можно было бы назвать «двойником» — в смысле, разработанном Достоевским, когда двойник оказывается сильнее и агрессивнее, чем герой. Но как быть с Чернышевским? Осталась легенда, что Герцен разбудил Чернышевского, а тот стал вопреки гуманизму Герцена звать Русь к топору. Но поскольку Чернышевский к топору не призывал, призывал, скорее, Герцен, остается вопрос, кто все-таки чувствовал себя наследником Герцена, Чернышевский или Нечаев?

Начну с того, что Чернышевский был разночинец, мещанин, призывавший не к революции, а к буржуазному предпринимательству (мастерские Веры Павловны) и уходил от революции, не принимая в своей прокламации («Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», за которую по иронии судьбы и безумию самодержавия был арестован) радикализма лондонских агитаторов.

Волюнтаризм герценовской позиции сказался и в его призывах 1861 года в «Колоколе». Это было время разрозненных крестьянских бунтов, студенческих волнений, жестоко и кроваво подавляемых самодержавием. Чернышевский полагал, что эти стихийные выступления без серьезной подготовки ни к чему, кроме ненужных жертв, не приведут. Революция неизбежна, но, с одной стороны, она должна вызреть, с другой — необходимо объяснить народу его конкретные цели и задачи. Вот почему он в

своей знаменитой прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» призывал: «Покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить <...> Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить <...> Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем <...> Тогда и легко будет волю добыть <...> А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли»³⁹. В этом контексте обращения Герцена к студенчеству звучали крайне радикально и безжалостно: «Не жалеете вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей истории, вами Россия входит во второе тысячелетие, которое легко, может быть, начнется с изгнания варягов за море» (XV, 185). Похоже, что напроорочил...

Расходились они и в понимании роли России и Запада в историческом процессе. Герцен полагал: «Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно и ограничено» (VII, 242). С этим связана и его идея о конце Европы, во всяком случае, о ее неспособности вступить в новую социальную жизнь, в отличие от России, к этому способной. Западу мешает «привычка к своему богатству» (XIV, 44). А «у нас нигде нет этих наглухо заколоченных предрассудков, которые у западного человека, как параличом, отбивают половину органов. В основе народной жизни лежит сельская община — с разделением полей, с коммунистическим владением землею, с выборным управлением, с правоммерностью каждого работника (тягла). Все это находится в состоянии подавленном, искаженном, но все это живо и пережило худшую эпоху» (XII, 430). Строй жизни русских крестьян, по Герцену, и есть тот самый строй жизни, который ищет Европа, он присущ

³⁹ Чернышевский Н. Г. «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15 тт. Т. VII. М.: Гослитиздат, 1950. С. 524. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте.

русскому крестьянству искони, надо только сознательно развивать этот элемент.

Отвечая на мысль Герцена о свободе России от прошлого, Чернышевский писал: «Мы так же имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться» (Чернышевский. VII, 616). И далее перечисляет все эти принципы, воспитанные веками крепостного права, начиная от привычки к несправедливости до привычки все решать волевым усилием, «силою прихоти»⁴⁰. Именно в силу этих «привычек», полагал он, России будет трудно воспользоваться идеями и опытом Запада и гуманизировать культуру, поднять ее до высот предлагаемых ей историей задач.

По поводу рассуждений о «закате Европы» и уподобления этого процесса гибели «Древнего Рима» Чернышевский предлагает свою схему исторического процесса, весьма внятную и работающую донныне. Чернышевский в своей статье «О причинах падения Рима» весьма резко делит историю человечества на период цивилизованный и варварский. Варвары и цивилизованные люди, разумеется, могут сосуществовать во времени и пространстве, более того, варвары, которые отождествляются им со стихийной природной силой наподобие наводнения, потопа, урагана или землетрясения, вполне могут разгромить народ цивилизованный (как германцы Древний Рим), точно так же, как молния может убить человека. Но Чернышевский сомневается, могут ли варвары привнести новое, прогрессивное начало в историю: «Вольные монголы и Чингиз-хан с Тамерланом, вольные гунны и Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры и атаман их шайки — это

⁴⁰ «Весь этот сонм азиатских идей и фактов, — пишет он о подобных привычках, — составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что Бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, различные цивилизованным людям» (Чернышевский. VII, 616–617).

все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах понять; кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом» (*Чернышевский*. VII, 659). Отождествляя варварство с состоянием хаоса, разбоя, брожения, он безусловно отрицал, чтобы это состояние общественной жизни могло выработать хотя бы самые отдаленные намеки на права отдельной личности, отдельного человека. Скорее, это заслуга народов цивилизованных и вне цивилизации право личности утвердить не удастся. Не случайно только спустя тысячу лет после падения древнего мира в Европе, в эпоху Возрождения, пробуждается личность, и связан этот процесс не в последнюю очередь с воскрешением разрушенной варварами античной культуры. Отсюда следовало, что не стоит хвалиться варварством, нецивилизованностью, «свежей кровью», а надобно прежде просветить и цивилизовать свой народ⁴¹.

Иначе он трактовал и проблему общины. Общинный принцип земледелия, считал Чернышевский, до поры до времени хорош для России, но никоим образом не годится Западу. «Европе, — писал он, — тут позаимствоваться нечем и не для чего; у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники». Что же касается современного им Западу, то собственно народ «еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард народа — среднее сословие уже действует на исторической арене <...> а главная масса еще

⁴¹ Стоит сопоставить его позицию с позицией его постоянного оппонента, который тоже хотел строить Россию изнутри, а не извне — с позицией М. Н. Каткова, как вспоминает о ней К. Леонтьев: «Катков возразил с жаром: “Мы не умеем ни ценить своего, ни изобретать, потому именно, что мы варвары. Когда у нас будет больше действительной образованности, когда у нас наука окрепнет, у нас сама собою явится та самобытность, которая вам так желательна. А пока надо уметь учиться”» (*Леонтьев Константин*. Записки отшельника // *Леонтьев Константин*. Указ. изд. С. 244).

и не принималась за дело...». И резюмировал, обращаясь к Герцену: «Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить» (*Чернышевский*. VII, 663, 666). Действительно, говорить о Европе Бальзака, Стендаля и Гюго, Диккенса и Теккерея, Гейне, Ницше, Маркса и Энгельса, Европе, шедшей к второй промышленной революции, наконец, Европе, давшей приют изгнанникам и поддержавшей их свободное слово, как о типе культуры, пришедшей в упадок и идущей к своей гибели, было по меньшей мере неисторично.

На статью Чернышевского Герцен ответил не сразу, видно, что текст оппонента задел его, спустя только несколько лет ответил книгой «Концы и начала» (1863), где с еще большим упорством писал о том, что мещанский Запад больше ни на что не способен. А в статье 1859 года «Very dangerous!!!» почти прямым текстом обвинял Чернышевского в сервильности. При этом Огарев писал, что «чистое искусство» вышло из диссертации Чернышевского, а Герцен обвинял его в подыгрывании правительству: «Милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего Боже сохрани) и до *Станислава на шею!*» (XIV, 121).

Чернышевский, однако, был арестован, приговорен к каторге, тем самым поневоле (может, и против воли?) вынужден был попасть в иконостас русских революционеров, который столь настойчиво создавали лондонские изгнанники. И стать поводом к новому революционному призыву: «Проклятье вам, проклятье — и, если возможно, мечь!» (XVIII, 222). Прозвучал здесь и намек на сравнение Чернышевского с Христом, поскольку Христос для Герцена — тоже революционер, как мы уже писали: надо заклеить, писал он, тупых злодеев, «привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его то-варищем креста» (Там же).

Стоит отметить, что после гражданской казни Чернышевского он попытался остановить молодых террористов: «А потому мы и обращаемся к “Молодой России”. Она думает, что “мы потеряли всякую веру в насильственные перевороты”». Но, возражает Герцен, «не веру в них мы потеряли, а любовь к ним» (XVI, 221). И все же

чуть позже Герцену показалось, что иного пути в России нет, тогда принял он «Молодую Россию», с которой Чернышевский полемизировал. «Правительство гонит молодое поколение потому, что оно его боится, оно уверено, что пожар был от “Молодой России” и что еще две-три прокламации — и в Петербурге настал бы 93 год. Правительство до “Молодой России” и после “Молодой России” вовсе не похожи друг на друга — она действительно произвела переворот» (XVIII, 287). Прокламации, однако, сообщали, что перерезать несколько миллионов людей ради торжества справедливости — пустяк, что французские революции оказались слишком трусливыми, мещанскими, чтобы совершить такое. Но Россия сможет. Путь к нечаевщине здесь уже намечен.

ГЕРЦЕН КАК ПРОТОТИП ОДНОГО ИЗ ГЕРОЕВ ДОСТОЕВСКОГО

Уже при жизни он становится предметом интереса художников. Его портреты рисуют живописцы, намеками проскакивает его образ а «Загадочном человеке» Н. Лескова, какие-то оттенки его образа художественно переосмыслены в образе Версилова у Достоевского («Подросток»). Но там лишь можно угадывать, да и многое не сходилось, хотя достоевсковеды писали об этом не раз. Впрочем, после работы А. Гачевой, убедительно соотнесшей образ Версилова с Тютчевым как реальным прототипом, можно считать тему прототипа главного героя «Подростка» решенной.

Надо сказать, сам Герцен был не против увидеть себя героем художественного произведения, но именно Героем. Он поверял жизнь искусством, а искусство жизнью в ее революционном развитии. Все образы русской литературы, от Чацкого и Онегина до Обломова и Базарова, воспринимались им лишь как этапы революционного развития общества. Не случаен его упрек Тургеневу по поводу образа «отцов», Кирсановых. Основной смысл этого упрека в том, что писатель не выбрал для изображения отцов подлинных деятелей 40-х годов, настоящих революционеров. Герцен отсылает Тургенева к опыту биографии Огарева и своей: «Кирсановы — самые стертые и пошлые пред-

ставители отцов <...> Что бы ему (Тургеневу. — В. К.) было прислать Базарова в Лондон?.. Мы, может быть, доказали бы ему на берегах Темзы, что <...> у Рудиных и Бельтовых иной раз бывает и воля, и настойчивость и что, видя невозможность деятельности, к которой они стремились по внутреннему влечению, они бросали *многое*, уезжали на чужбину и заводили, “не метавшись и не суетясь”, русскую книгопечатню и русскую пропаганду» (XX, 1, 339—340). В требовании изображать жизнь в ее *революционном* развитии виден прямой путь, если говорить об общественно-эстетических традициях, к идеям социалистического реализма, коего Герцен в XIX веке, похоже, был крупнейший теоретический предшественник.

Он был и героическим персонажем, и трагическим героем. «Тургенев написал, что Герцен пережил себя. Спустя столетие последовало резонное возражение: Для личности такого масштаба вопрос о времени смерти — отнюдь не праздный. Нет, Герцен не пережил себя. И его встреча с Нечаевым — не случайность.

Герой трагедии сталкивается с обстоятельствами, противостоит им, может погибнуть (и, чаще всего, действительно гибнет), но не становится просто жертвой обстоятельств.

Герой равновелик обстоятельствам.

По классическому определению трагедия включает и трагическую вину. Герой сталкивается с последствиями своих поступков, не свершать которых он не мог <...> Это относится и к встрече с Нечаевым, и к опрометчивому второму браку, и к судьбе детей; шестьдесят девятый год был тем годом, когда Герцен непосредственно столкнулся с последствиями своей жизни. Увидел в Нечаеве — пусть и страшно искривленное, исковерканное, — но тоже *последствие*. И нашел в себе силу — понять, противостоять и не проклясть все то, чему поклонялся недавно сам и звал поклоняться других»⁴².

⁴² Орлова Пауса. Последний год жизни Герцена. Chalidze Publ. New York, 1982. С. 85—86.

И Герцен как прототип стал героем трагедии. Речь идет о трагическом романе «мещанского писателя» Достоевского (как его именовали в советском литературоведении) «Бесы» и его герое — Ставрогине. Начну с того, что Ставрогин, барич Ставрогин, которого сравнивают все время с шекспировском принцем Гарри, будущим королем Англии, был гражданином кантона Ури. Это принятое им гражданство как бы подчеркивало эмиграцию — реальную — Ставрогина. Ури — один из кантонов Швейцарии. Герцен, *Искандер*, в воображении своем и окружающих — Александр Македонский, то есть потенциальный император, будучи лишенным в 1851 году прав состояния, принял швейцарское подданство, став гражданином кантона Фрейбург.

Герцен очень противоречив в своих писаниях. Вспомним: **1.** Проповедь силы индивида, а так же смерти как высшего смысла человеческого волеизъявления. **2.** Пропаганда русской общинности, русского народа, который по природе социалист, а социализм и есть современное христианство. Тут почти прямая перекличка с идеей народа-богоносца. **3.** Надежда на разбойника как единственного активного врага самодержавия, высказанная им в 1850 году⁴³. **4.** Наконец, поддержка молодых радикалов вместо постепеновца Чернышевского, поддержка Нечаева (вместе со старыми друзьями — Бакуниным и Огаревым).

⁴³ «Бродяжничество и разбой необычайно усилились в годы междоусобицы и в начале XVII столетия. Память о Стеньке Разине сохранилась во множестве песен, сложенных в его честь народом. Обычай разбойничества дожил до времен Пугачева, и весьма вероятно, что своим широким распространением он обязан именно глухой борьбе, начатой крестьянами, протестовавшими против закрепощения. Известно, что в песнях разбойнику отводится благородная роль, что все симпатии обращены к нему, а не к его жертвам; с тайной радостью превозносятся его подвиги и его удали. Народный певец, казалось, понимал, что самый большой его враг — не этот разбойник» (VII, 186—187). А в 1869 году Бакунин эту мысль в «Постановке революционного вопроса» развил: «Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему, тот не может сочувствовать русской народной жизни» (Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. С. 217).

Все эти противоречивые идеи Герцена исповедуют герои «Бесов», приписывая их авторство Ставрогину, желая видеть его своим вождем. Дело в том, что произнесенные слова всегда находят своих адептов. Пойдем по пунктам. **1.** Проповедующий бешеный индивидуализм и смерть Кириллов произносит: «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин». **2.** Исповедующий идею величия русского народа-богоносца как спасителя мира, Шатов тоже произносит слова о Ставрогине, как вожде: «Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!..». Но добавляет: «Когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом». Интересен искренний ответ Ставрогина: «Повторяю, я вас, ни того, ни другого, не обманывал». **3.** Федька Каторжный тоже считает Ставрогина своим вожаком, ждет его указаний. И Ставрогин удивлен: «Почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы “поднять у них знамя”, по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслью, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина “по необыкновенной способности к преступлению”, — тоже его слова». Упаси Бог обвинить Герцена в преступлениях, речь идет о последствиях идей. Достоевский показывает, как человек агитирует и убеждает других в самых противоположных установках. **4.** Важнейшая — это социализм, это Верховенский-Нечаев, к которому сам Ставрогин относится с брезгливостью, как Герцен к Нечаеву (Достоевский мог об этом знать по «Письмам старому товарищу»). Но Верховенский мечтает о вожде революции — аристократе. А это именно Герцен: «Знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку, из угла гляжу! В вас даже есть простодушие и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно быть, страдаете, и страдаете искренно, от того простодушия. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, а вас все ненавидят, вы смотрите всем равней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подой-

дет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...»

Что касается любовных историй Ставрогина, то из русских радикалов с ним посоперничать мог только Герцен. Разумеется, не было за ним сладострастного дурмана и преступлений, что и дало ему возможность остаться в иконостасе пусть не святых, но великих людей России, искренно искавших свободы для своей страны. Была вера в молодых радикалов. Это было его главной ошибкой. Герцен верил в исторические встречи «через поколения». Поэтому, будучи в достаточно сложных отношениях с «шестидесятниками», он писал: «мы с детьми Базарова встретимся симпатично, и они с нами...» (XX, 343). Как ни нападали на Герцена «молодая эмиграция», как ни опровергали его идеи ретивые «нигилисты», но его идеи оплодотворили русскую революционную мысль. Это замечали даже либералы, противники революционного движения в России. Е. Аничков писал: «Все главные лозунги русского революционного движения до самой “Народной воли” провозглашены Герценом. Настоящим вдохновителем революционеров еще во времена “нечаевщины” станет его друг Бакунин. Но Герцен не только позвал основывать тайные типографии, от него же исходит и “Земля и Воля” и “хождение в народ” <...> Провозглашенные им лозунги живы, и ими трепещут и мнутся, во имя их идут на Голгофу революционного дела новые поколения...»⁴⁴.

ПРОЗРЕНИЕ

Верховенскому не удалось использовать Ставрогина: Ставрогин покончил самоубийством. Не удалось и Не-

⁴⁴ Аничков Е. В. Две струи русской общественной мысли. Герцен и Чернышевский в 1862 г. // Записки русского научного института в Белграде. Вып. I. Белград, 1930. С. 234–235.

чаеву использовать Герцена. И не только потому, что тот умер. Перед смертью Герцен написал цикл писем «К старому товарищу», где практически отверг, убил все прежние свои идеи и призывы. Это был одновременно акт великого самоубийства, но и великого Возрождения. Герцен оказался одним из первых, кто изнутри радикального движения увидел и показал его ужас и опасность, более того, в принципе отверг радикальный путь переустройства мира, предложив иные возможности. Мечта стать Александром Македонским и развалить великую империю — Римскую, Персидскую — псевдонимы уже не важны. Речь шла о развале Российской империи. Вначале с помощью западных революцией, потом (после разочарования в Западе) с помощью революционно распропагандированного народа. Все это вдруг предстало ему в ином свете после появления пробужденного им дьявола — Нечаева.

Герцен рассуждал о возможной встрече с народом. А Нечаев явился как голос того самого народа, о котором было столько рассуждений. Какова же роль личности в этом реальном столкновении с массами? История знает два типа таких взаимоотношений. Как происходит встреча личности с массой? Только в роли жертвы (Христос) или вождя (Тамерлан, Наполеон). Другого варианта нет.

Герцен видел себя вначале вождем (недаром так много писал о роли личности в истории), а затем наставником, учителем будущих вождей, «молодых штурманов будущей бури» (Ленин). Но их-то он и испугался. Народ — буря, ею надо руководить. А чтобы руководить бурей, мало культурфилософских статей, здесь нужны действия, и действия жестокие. И для Герцена вдруг впрямую встает вопрос: «А нужна ли буря?» Если буря порождает Аттил и Тамерланов, то много ли в ней продуктивного? По молодости лет он не боялся разрушений, отступлений в варварство и т. п. Но одно дело — так случилось до меня, естественным историческим ходом, другое дело — самому строить по аналогии такой же разрушительный ход истории. Конструировать разрушения... Это требовало полного отсутствия гуманности, которой Герцен не был лишен. Тогда и пишет свое великое произведение, если быть че-

стными, произведение — пересмотр всей своей интеллектуальной деятельности. В мировой культуре подобное, видимо, не часто встречается.

На мой взгляд, Зеньковский слишком банально и не контекстуально понял духовную драму Герцена: «Разочарование и скептицизм <...> коснулись и последних основ мировоззрения Герцена — веры в человечество, веры в прогресс»⁴⁵, — писал он. Но речь шла не о потере веры в человечество, в прогресс, а как раз о возврате и к идеям прогресса, и к надежде на сохранение и разума на Земле.

Молодые волки, молодая эмиграция, уже скалили зубы на Герцена, заявляя, что он отжил свое, что он не способен к реальному действию. Единственное, что им нужно было от Герцена, — это материальная поддержка их экстремистских проектов. Но Герцен был человек мужественный, действительный боец. Он не боялся самодержавия, не испугался и Нечаева с компанией, не поддался и на уговоры старых друзей — Огарева с Бакуниным. Он категорически отказывается предоставить Нечаеву Бахметевское наследство. Более того, Герцен пишет цикл из четырех писем «К старому товарищу», обращенный к Бакунину, отчасти к Огареву, но глубоко внутри — к себе лично. В этом цикле он поднимает и заново рассматривает, причем с какой-то прозорливой мудростью все те проблемы, которые он когда-либо поднимал.

Эта работа — из лучших работ Герцена. Если юную, полную горечи, сарказма, ужаса и тоски по поводу «гибели Европы» книгу «С того берега», которую сам Герцен называл своей лучшей книгой, сопоставляли (как отмечал сам Герцен, V, 223—224) с пророческими книгами Иереми и Исаяи, то эту можно бы сравнить с Экклезиастом. Эти письма — своего рода подведение итогов. Завещание и Предупреждение. Это был, пожалуй, наиболее сильный удар по народившемуся русскому экстремизму. Причем удар с той стороны, с какой они его не ожидали. Слишком много весило слово Герцена в революционных кругах. Написав эту работу, он скоропостиж-

но скончался. Уж очень много внутренних сил забрал у него этот небольшой по объему, но чрезвычайно насыщенный по содержанию цикл писем. Надо сказать, бесы испугались, услышав о наличии этого текста. И попытались всеми силами остановить публикацию последних бумаг Герцена. Не будем гадать о причинах смерти Герцена, но вот дальнейшая реакция Нечаева весьма показательна. Приведу отрывок из воспоминаний Н. Тучковой-Огаревой: «В то время мы занимались печатанием посмертного издания Герцена. Почему-то Нечаев и компания узнали, что в этом томе будет статья о нигилистах, и потому я получила по почте из Германии бумагу, озаглавленную “Народная расправа”; послание это, очевидно, было написано в Женеве; в нем запрещалось печатать сочинения необдуманного, но талантливого тунеядца Герцена, и что если я и его семья не послушаемся этого предостережения, то будут приняты против нас решительные меры»⁴⁶. Стараниями А. А. Герцена (старшего сына) эти произведения вышли в свет в том же, 1870 году.

Основной пафос этой работы — отказ от анархистско-волюнтаристского революционаризма. «Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, — пишет он Бакунину, но это «нас» характерно, это и к себе обращение, — она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо ли это или нет? В этом весь вопрос» Разумеется, в общем виде социалистическая идея, идеал прекрасны, но решение их уже не кажется ему таким простым: «Общее постановление задачи не дает ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насильем их не завоеешь» (XX, 2, 576, 577). Он высказывает сомнение в мессианских идеях «русского социализма» — с его опорой на крестьянскую общину: «Экономический переворот имеет неоспоримое преимущество перед всеми религиозными и политическими революциями — в трезвости своей основы <...> По мере того как он вырастает из состояния не-

⁴⁵ Зеньковский В. В. Указ. соч. С. 59—60.

⁴⁶ Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1959. С. 260.

определенного страдания и недовольства, он невольно становится на *реальную почву*. Тогда как все другие перевероты постоянно оставались одной ногой в фантазиях, мистицизмах, верованиях и неоправданных предрассудках патриотических, юридических и пр.» (там же).

В предыдущих своих работах, торопя в России социалистический переворот, Герцен с большим сомнением относился к пролетариату Западной Европы, надеясь, что в России его вообще не будет, что все проблемы социалистического переустройства разрешит именно крестьянство, отрицая город как отжившую структуру общественного развития: «Сельские народонаселения Запада нам кажутся его резервом, народом *будущей* Европы, по ту сторону городской цивилизации и городской черни, по ту сторону правительствующей буржуазии и по ту сторону утягивающих все силы страны столиц» (XIV, 173). Соответственно, и пролетариат обречен идти мещанским путем буржуазии⁴⁷. Выход казался один — в людях села: «Люди полей сменяют их. В этом отсталом, но крепком мышцами кряже осталась бездна родоначальных сил; оно в своей бедности и ограниченности не так истощало, не так обносилось, не так покрылось пылью, как городской пролетариат и мелкое мещанство; оно работало на чистом воздухе, на солнце и дожде» (XIV, 173). Зато теперь в крестьянстве он видит резерв и защиту старого порядка: «Разве мы не знаем, что такое сельское население? Какова его упорная сила и упорная косность?» И далее: «С консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона... Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за

⁴⁷ «Западные народы из сил выбились, — писал он в «Концах и началах», — да и есть от чего, они хотят отдохнуть, пожить в свое удовольствие, надоело беспрестанно перестраиваться, обстроиваться да и ломать друг другу дома <...> Были трудные вопросы, были любимые мечты — все улеглось. На что вопрос о пролетариате — и тот утих. Голодные сделались ревностными поклонниками чужой собственности, в надежде приобрести свою, сделались тихими лаццарони индустрии, у которых ропот и негодование сломлены вместе со всеми остальными способностями...» (XVI, 189).

знакомое» (XX, 584). Поэтому, говоря: «Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять *шаг людской* в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу» (там же, 586), — Герцен уже иначе воспринимает идеи отступления в варварство, казавшиеся ему некогда столь продуктивными: «То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слышали голоса, призывающего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть — *власть разума и понимания*. Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами цивилизации» (Там же, 589).

Такая позиция вызвана явным перевесом в тот момент «левых радикалов» в русском революционном движении, радикалов, не только грозивших разрушить всю культуру прошлого, но и вообще перечеркнуть историю: не случайна ориентация Нечаева на Бакунина с его идеей анархического насильственного разрушения. Но Герцен, указывая на беспочвенность и утопизм бакунинских построений, задает иронический и вместе страшный вопрос Бакунину о *методах* его будущего общественного устройства: «Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов?» (там же, 585). Доверие к живой жизни народа, небоязнь услышать его голос, даже если он будет консервативным⁴⁸ и не осуществит возлагаемых надежд на его якобы общинно-коммунистическую структуру, теперь явно приближало его к позиции Чернышевского и Добролюбова, стремившихся понять народ в его реальном бытии, а потому и не идеализировавших его. Теория должна опираться не на выдуманный и идеальный народ, а на реальный, потому и нельзя навязывать истории вычитанные из книг схемы. Теперь о та-

⁴⁸ Анархисты, писал он, «полагают возможным начать экономический переворот с *tabula rasa*, с выжиганья дотла всего исторического поля, не догадываясь, что поле это с своими колосьями и плевелами составляет всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все его утешенье» (XX, С. 589).

ких проповедниках Герцен пишет: «Старые студенты, жившие в отвлеченьях, они ушли от народа дальше, чем его заклятые враги. Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше прямых связей с массами, чем они» (там же, 589).

Утверждая сложность исторического процесса, Герцен высказывает сомнение в правомерности тотального разрушения прошлого, и прежде всего — искусства и культуры: «Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и *силой хранительной* (курсив мой. — В. К.). Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего бывшего и настоящего сделает скучную мастерскую <...> И кто же скажет без вопиющей несправедливости, что и в былом и отходящем не было много прекрасного и что оно должно погибнуть вместе с старым кораблем» (XX, 581). Традиции Герцена в этой борьбе за культуру тем более остаются актуальными, что сам он, будучи человеком весьма разносторонне и широко образованным, готов был поначалу принять «грядущих гуннов», принять и одобрить разрушение нового Рима — Европы и петербургской России, но его посетил своего рода исторический страх, историческое прозрение. В призывах и действиях Нечаева и Бакунина он увидел страшные слова привидевшиеся Валтасару: «И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему» (*Дан*; 5, 25–26). Он испугался, что та мечта грядущего мироустройства исполнена не будет, понимая и степень своей вины в этом. Реальный опыт столкновения с «молодыми штурманами будущей бури» переубедил его, и тем взвешеннее и точнее прозвучали его слова, ибо были глубоко лично пережиты и пережитованы.

Отказ новых радикалов от «слова» ради «дела» доказывал Герцену их духовную несостоятельность: «Как будто *слово* не *есть* дело? Как будто время слова может пройти? Враги наши никогда не отделяли *слова* и *дела* и

казнили за слова не только одинаким образом, но часто свирепее, чем за дело <...> Расчленение *слова* с *делом* и их натянутое противуположение не вынесет критики, но имеет печальный смысл как признание, что все уяснено и понято, что толковать не о чем, а нужно исполнять» (XX, 587). На упреки, что он, по сути, защищает капитал, Герцен отвечал, что он защищает «капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен» (там же, 593). Еще несколько лет назад он полемизировал с Чернышевским по поводу Древнего Рима, оправдывая варварство древних германцев и полагая, что новая идея может утвердиться только на расчищенном поле, на развалинах. С германцами пришла и утвердилась новая идея — христианство, теперь на развалинах европейской цивилизации должен утвердиться социализм. Чернышевский возражал тогда, что новые социалистические идеи, если они хотят быть истинными, возможны только на основе достижений мировой цивилизации, не уничтожении прошлых богатств, а приумножении их. Герцену казалось, что без тотального разрушения нельзя. Но сила его как личности была в том, что, видя развитие жизни, убеждаясь опытом в своей неправоте, он не боялся сказать это открыто: «Честно мы не можем брать на себя ни роль Аттилы, ни даже роль Антона Петрова <...> Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку⁴⁹ и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной» (XX, 588, 592). Чернышевский оказался прав, и Герцен, по сути, объединяется с ним, нигде его не называя, когда выступает против разрушительных анархистских идей, отстаивая завоевания цивилизации: «Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те пределы сил

⁴⁹ Так, Бакунин, обращаясь к молодым радикалам (март 1869 года), писал в памфлете «Несколько слов к молодым братьям в России»: «Не хлопчите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая несомненно народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа» (Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. С. 213).

человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации». И искусство, которое он считал истинно революционным явлением в духовной жизни человечества, как раскрепощающее личность, не может быть подвергнуто уничтожению: «Довольно христианство и ислаимзм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказила статуи, картин, памятников, — нам не приходится играть в иконоборцев» (XX, 593).

Такого рода работы входят в сокровищницу историко-философской мысли. Миновать их мыслителю, думающему о путях развития общества, невозможно. Беда в том, что такого рода тексты не желают воспринимать так называемые делатели истории. Но человечество пишет свою вечную книгу, в которой собираются лучшие тексты мыслителей разных стран, своего рода Исторический Завет. Эта работа Герцена безусловно там находится и, быть может, учитывается в каком-то высшем разумении о судьбах человечества. Разумеется, все художественно-философское творчество Герцена может доставить наслаждение полетом мысли и широтой исторических и культурных ассоциаций. Вместе с тем этот мыслитель не дает решения поставленных им проблем. Он сам остается проблемой. Но в остроте, доведенности до крайности, открытости его мысли опыту истории — духовный урок его творчества. Задача его потомков — по возможности этот урок усвоить.